

Подпольный госпиталь

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Это случилось июньской ночью 1942 года в черной выси, исполосованной лучами прожекторов, прошитой строчками трассирующих пуль и вспышками зенитных снарядов. Это был всего лишь частный эпизод, одна из тех бесчисленных трагедий, которые в сумме своей — на земле, в воздухе, на воде, под водой — и составляли неохватную взглядом, непостижимую умом и сердцем, ни с чем не идущую в сравнение народную беду. Имя ей — война.

Та ночь была грозовой и в символическом, и в прямом смысле.

Быть может, если бы не тучи, оплошной и толстой пеленой накрывшие Курск, да не гроза, звено наших тяжелых бомбардировщиков дальнего действия, в срок сделав свое дело, уже налегке повернуло бы назад и, держась повыше, благополучно возвратилось на свою базу. Но летчики имели точную цель—скопление фашистских эшелонов на железнодорожных путях станции Курск. Летчики знали: ни одна бомба не должна была упасть в стороне — там был город, советский город, временно захваченный врагом; там жили люди, советские люди, ради которых и летали сюда наши соколы, презирая омерть.

Командир звена принял решение идти на запасную цель: пути станции Орел тоже забиты воинскими эшелонами врага. Будет куда сбросить с толком тяжелый груз.

Но сегодня им явно не везло. Погода и тут, у Орла, не благоприятствовала точному выходу на цель. И здесь расползлась по небосводу низкая, насыщенная грозowymi зарядами туча. Волей-неволей, приближаясь к цели, резко сбавили высоту.

Самолет спустился до двух тысяч метров. Александр Гомзиков поежился в своей тесной кабине стрелка-радиста. «Там у них, вокруг Орла,— подумал он,— зенитных батарей хватает. Ну, ну, старина,— тут же мысленно одернул он себя.— Ты чего захотел? Чтобы на войне— без смертельной опасности? Не выйдет, друг!»

Конечно, куда лучше было бы сейчас спускаться в чистом небе за Москвой, где под крылом самолета отливает серебром вода, а на берегу ждут, не дождутся их возвращения товарищи-однополчане Гомзикову показалось, что база полка тяжелых ночных бомбардировщиков, расположенная у самой кромки воды, находится бог весть в какой дальней дали. Подумалось даже, что на родном аэродроме нет, и не может быть такой, как здесь, непроглядной злой ночи и сейчас во всей красе сияет летний день.

Но эти мысли владели старшиной считанные мгновения. Он снова строго приструнил себя, и они улетучились, уступив место другим.

Выйти на цель нужно точно и быстро, пока еще не спохватились фашистские зенитчики и прожектористы, пока частокол лучей не преградил путь. И если бы только преградил! Ведь обязательно станут хищно шарить по небу, вдоль и поперек, норовя нащупать тебя, скреститься на тебе, схватить мертвой хваткой и выставить напоказ зенитчикам: вот он, стреляйте ему прямо в сердце!

Не раз, летая по ночам на Курск, Орел, Полтаву, Харьков, они с трудом ускользали от прожекторов и снарядов зениток. Случалось, обстоятельства складывались так круто, что-по всему видать — было им не уйти, и уж, во всяком случае, не пробиться к цели. И все же Гомзиков и его друзья пробивались. Наносили меткие удары и счастливо возвращались домой. Всякое, правда, бывало: на то и война. Бывало и труднее, чем этой ночью. Должно обойтись и сейчас.

Гомзиков вдруг отпрянул, инстинктивно заслонив глаза руками. Резкий свет прожектора бил ему прямо в лицо. Он заполнял кабину. От него некуда была укрыться.

Самолет сильно качнуло вправо, потом влево... Он стал почти отвесно набирать высоту. Еще через мгновение—не менее резкий рывок вниз, и опять — вправо, влево, вверх, вниз...

«Отлично, Боря, не давайся гадам!» - мысленно похвалил Гомзиков командира

корабля старшего лейтенанта Варламова и облегченно вздохнул: в кабине снова стало темно. На этот раз так темно, будто Гомзиков ослеп. Но вот он пришел в себя, снова стал видеть и начал всматриваться в небо.

Маневр Варламова дал желаемый результат: самолет вырвался из проклятого луча, тот, отвалив в сторону, заметался беспомощно и растерянно. Но это еще вовсе не означало, что они ушли от преследования. К самолету подбирались два других, пронзительно ярких, огромно широких прожекторных луча, словно два потока, готовых смять, опрокинуть, захлестнуть беззащитный перед ними самолет. Еще минута, короткая и бесконечно длинная, и они, скрестившись с первым, решительно двинулись, к цели. Как ни старался командир, как ни маневрировал, три излучающих губительный свет зверя разом во всю силу ударили в одну точку.

Теперь они держат ее и вместе с ней - то поднимаются, то теряют высоту, то забирают вправо или влево. Гомзиков не просто сознавал, а каждым до предела напряженным нервом чувствовал, насколько скован маневр их корабля, не очень-то поворотливого и без бомбового запаса. Что же остается: сбросить бомбы куда попало, без цели, без смысла? Нет, смысл был: облегчить и спасти самолет, не допустить гибели экипажа. Но какой ценой? Заплатить за это бессмысленными разрушениями там, на земле, на своей родной земле. Спасти ценой многих жизней детей, женщин, стариков? На такое разве можно пойти? Нет, выиграть бой, обрушить бомбы точно на цель, на голову врага!

Они не откажутся от мысли продолжать сражение и тогда, когда немецкие зенитчики прямым попаданием поразят отлично видимую и к тому же близкую мишень. И еще через мгновение, когда объятый пламенем самолет, не поддаваясь управлению, понесется к земле, они еще будут сражаться.

Они, точнее те из них, кому удастся вовремя покинуть обреченный на гибель бомбардировщик и кто чудом останется в живых, не изменят своей клятве продолжать бой в любых, казалось бы самых невыносимых условиях — в одиночку, на захваченной врагом земле, окруженные плотным кольцом врагов. И потом, позднее, изрешеченные пулями, истекающие кровью, в фашистском плену, со смертью на коротке, они тоже останутся в строю бойцов.

... Самолет горел. Еще минута промедления, и он развалится на части. Оставалось одно — выбраться Гомзиков ударился подбородком обо что-то твердое - по всей вероятности, пулемет - почувствовал острую боль и потерял сознание.

Оно вернулось, когда Александр мягко покачивался на стропах парашюта вблизи земли, Гомзиков пришел в себя с тяжелым чувством неотвратимости беды. Нет, не ноющая боль и не кровь на подбородке и на груди были сейчас самыми неприятными и беспокоящими. Резкий режущий свет — вот что угнетало. Первое ощущение было таким, словно он и не покидал самолета: луч прожектора бил в лицо, освещал с головы до ног, не давал скрыться в темноте хотя бы на секунду.

Он спас себе жизнь, но надолго ли и для чего?

Земля, которая приближалась, была в одно и то же время и желанной, и куда более опасной, чем это небо, где он выставлен сейчас напоказ и может быть легко пристрелен. Что ждет его там, на земле? Плен, только плен — фашистская неволя, страшнее которой ничего нет на свете. Разве не лучше бы рухнуть вместе с горящим самолетом и взорваться на собственных бомбах? Зачем ему теперь земля, что полезного в состоянии он на ней сделать?

Но это была секундная слабость, и Гомзиков сразу же избавился от нее. Как так — «что»? Бороться, воевать! Только презренный трус не сможет найти выхода!

«Где-то там поблизости,— оценивал обстановку Гомзиков, восстанавливая в памяти местность, которую не раз осматривал в полете,— должны быть огороды, за ними поля и еще дальше — лесок, И перед леском — железнодорожная линия. Ее бы только перемахнуть в темноте, а там, в лесу...».

В сознании Гомзикова зрел план боя. Неравного, почти заведомо проигранного. Но выбора не было.

Александр продолжал раскачиваться на парашютных стропах, когда раздался взрыв огромной силы. На земле, далеко в стороне, вспыхнул гигантский факел и разметался по полю клочьями огня. Грохот прокатился по окрестностям. Александр здесь, вдали от нее, почувствовал, как земля содрогнулась. «Ну, вот и все», — подумал он о бомбовом запасе и о самом бомбардировщике, обломки которого догорали там, внизу. Подумал со вздохом облегчения: хорошо, что это произошло в поле, что командиру все-таки удалось вывести самолет за городскую черту, избежать напрасных разрушений и жертв. «А о себе ты подумал, Борис? Успел ли выброситься с парашютом? Хоть бы не опоздал! Хоть бы не замешкались Вася Абрамов и Алеша Соколов! Где вы все, что с вами?»

Минет много дней (но что это за дни! — каждый из них мог быть последним в его жизни), и Гомзиков узнает о судьбе товарищей. Двое — второй пилот Соколов и штурман Абрамов, тяжелораненые, погибли вместе с самолетом. А третий — Варламов — успел выброситься с парашютом. Борис остался в живых; голодный, обессиленный, пробирался он к линии фронта, к своим, но был схвачен гитлеровцами.

Погибающие вместе с самолетом боевые товарищи Гомзикова смертью своей шли ему на помощь. Во время взрыва луч прожектора, уцепившийся за Гомзикова, на короткое время отпустил его, а потом, когда снова попытался найти, Александр был уже вне досягаемости. Приземлился он в полной темноте и, освободившись от ремней парашюта, быстро пополз к огородам. Вот уже лица его коснулась прохладная ботва картофеля. Она задела рану на подбородке, и Александр заскрипел зубами, торопливо отвел ботву. Рука стала липкой от крови.

На узенькой огородной меже он перевел дыхание и осторожно приподнял голову. Фонарики в руках немецких солдат, ждавших его на земле, как свора голодных волков ждет беззащитного, сбившегося с дороги путника, мельтешили вдали. Но не приближались, нет - сомнений быть не могло. Наоборот, они даже стали удаляться и все в одном направлении - туда, где упал и взорвался самолет.

Хоть бы на мгновение ткнуться лицом в ладони, скрещенные на прохладной траве, с наслаждением вытянуться, сомкнуть веки! Тело просило, требовало этого, но Гомзиков не дал себе передышки. Рана настойчиво клонила тяжелую голову к земле, а он снова пополз, Пока фашисты придут в себя, нужно сократить расстояние, отдалявшее его от леса. Он ящерицей извивался, прячась в картофельной ботве, и вот почувствовал себя на овсяном поле, на том самом, что другой стороной — он это помнил хорошо — упирается в железнодорожную насыть.

Но тут свет фонариков стал более четким. Они ближе... ближе... ближе... Как ему быть теперь? Если и дальше не дать себе передышки, то можно, пожалуй, от них уйти. Видно, немцы сбились с его следа и не догадываются, что он прямо перед ними притаился среди густого овса, на пути к насыпи. Им нужно сделать всего лишь два шага в сторону. Но такое уж ему счастье: они проходят мимо. Один, другой, третий... Кажется, он чувствует запах ваксы на их сапогах, глотает пыль, взбитую ими. Нет, им невдомек, где он и какой путь избрал. А до насыпи — рукой подать. Еще несколько бросков ползком, а потом он поднимется и побежит. Риск? Что же другое ему делать? Июньская ночь коротка: еще совсем немного, и начнется рассвет. Тогда враги возьмут его голыми руками, станут глумиться над ним. Не бывать этому!

Крики и выстрелы за своей спиной Александр услышал, карабкаясь на вершину насыпи. Лес был совсем рядом: задыхаясь, раскрытым ртом Гомзиков жадно глотал его прохладу. Друг, спаситель, выручай! От тебя теперь зависит, жить или погибнуть.

«Всего только шаг или два по полотну, а там — покачусь вниз, пусть тогда кричат, грозят, шлют вдогонку пули, все равно уйду», - подумал Гомзиков, поднимаясь во весь рост на самом краю крутого склона, что тонул своим основанием в лесу. Подумал, разогнул спину, глянул вниз и... оцепенел. Трое гитлеровцев ждали его в засаде, держа автоматы наперевес. Увидав его, они не отвели оружия, не остановили, не приказали ему поднять руки. Только дула автоматов опустились ниже груди Гомзикова.

Немцы стреляли в упор, наверняка, но так, чтобы не убить.

Потом ели волокли его полем и огородом, которые он с таким трудом и риском только что прополз. Швырнули пленного на подводу, и та, трясясь на ухабах, пыля проселком и грохоча по булыжнику мостовой, долго тащилась в блеклой дымке рассвета. Он не помнил ни этого, ни того, как в луже крови валялся на цементном полу камеры орловской тюрьмы. Разъяренный фашистский офицер, ругая тюремщиков, грозил, что они будут отвечать перед гестапо, если русский летчик отправится на тот свет прежде времени, не дав показаний.

Александр осознал, что он жив, позднее, когда, лежа на носилках, увидел ясное небо над собой и обросшие густой щетиной, изможденные русские лица.

— Куда вы меня? — только и был он в состоянии едва слышно прошептать.

Одно из бородатых бледных лиц склонилось над ним. Он встретил приветливые глаза и участливую улыбку:

— Не волнуйся, браток, все будет хорошо. В Русскую больницу несем тебя.

Снова смыкая веки, Гомаиков подумал, что, вероятно, ослышался: в городе, захваченном врагом, и вдруг — русская больница, русская!?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Чтобы понять, почему Иван Сергеевич Сергеев и его семья остались в оккупированном Орле, как случилось, что он не был отправлен на фронт, а жена и дочь не уехали в глубь страны, нужно представить себе обстановку тех дней в этом городе.

Охарактеризовать ее можно одним словом: неразбериха.

В первые дни войны Сергеева призвали в армию. Он был зачислен в команду красноармейцев, которые в свое время, подобно ему, отслужили срок на действительной, потом, время от времени, вызывались для прохождения кратковременных территориальных сборов. Спешно сформированная и вооруженная команда вскоре отбыла из Орла на фронт. Но Сергеев с ней не уехал. Чуть ли не перед самой погрузкой в эшелон его отчислили и возвратили в распоряжение военкомата. Так решила медицинская комиссия, обнаружившая у Ивана Сергеевича грыжу. Военкомат должен был направить его на операцию и лишь после этого вновь призвать.

— Ждите повестки,— отмахивались от Сергеева в военкомате, досадуя на его настойчивость.— Нам сейчас не до вашей грыжи.

Растерянный возвращался Иван Сергеевич в свою маленькую сапожную мастерскую, где теперь он был один, без подмастерья: паренек ушел на фронт 22 июня.

По улице мимо мастерской шли и ехали люди. Они оставили родные города и деревни: там сейчас бесчинствовал враг. В прошлые войны таких называли беженцами. Нынче в обиход вошло новое слово, поначалу странно звучащее, но быстро ставшее привычным и точным — эвакуированные. Случалось, они забегали в мастерскую к Сергееву, чтобы на ходу прибить подметки или залатать обувь, вконец развалившуюся на долгом пути по дорогам и без дорог. Их рассказы были страшны — и сами по себе, и еще тем, что с каждым днем и каждым часом эвакуированные оказывались беженцами из все более ближних от Орла мест. Трезво оценивая обстановку, люди эти в подавляющем большинстве оставаться в Орле не решались.

Иван Сергеевич настаивал, чтобы жена и дочь тоже эвакуировались — за Волгу, на Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию,— да мало ли есть далеких от фронта мест, где Татьяна Дмитриевна и Нина будут в безопасности, где он их найдет, возвратившись с фронта, и куда приедет к ним после победы Володя. Татьяна Дмитриевна наконец согласилась с доводами мужа и вместе с Ниной стала укладывать чемоданы. Делали они это, не задумываясь над тем, что взять с собою можно лишь самую малость, а то, и другое, и третье — все, нажитое годами, достанется бог весть кому. Перед угрозой, нависшей над Родиной, угроза личному благосостоянию — дому, мебели, одежде, книгам, посуде — выглядела нелепой, мелочной.

Но упакованные чемоданы пришлось очень скоро распаковать.

— Орел не будет сдан,— решительно заявили Татьяне Дмитриевне в комиссии, без разрешения которой безнадежны были все попытки приобрести железнодорожный билет.— Паникеров и трусов не слушайте. Это — во-первых. А во-вторых, кто будет защищать город, когда явится в том необходимость? Кто станет возводить противотанковые заслоны, строить на улицах баррикады? Нет, не рассчитывайте, Мы никому не позволим дезертировать!

И они остались в напрасных ожиданиях, что их действительно позовут, когда понадобится: Ивана Сергеевича—в Красную Армию, Татьяну Дмитриевну и Нину — защищать родной город. Но все произошло совсем не так, как можно было ожидать.

И вот враг — у твоего порога. Он входит в твой дом хозяином, наглым и беспощадным. Он волен делать всё, что ему заблагорассудится, с родным твоим городом, с самим тобой, с дорогами и близкими тебе людьми.

Почему им не сказали правду — горькую, страшную, но так необходимую в их положении? Зачем помешали Татьяне Дмитриевне и Нине эвакуироваться, а ему стать в ряды бойцов, или — раз он солдат плохой — вовремя уйти от угрозы плена, на худой конец, пешком?!

Что ему теперь остается делать? Неужели то, что уже делают некоторые: выдавать себя за ущемленного советской властью и лобызать сапоги «освободителей»?

А может быть, не очень усердствуя и не выказывая своего настроения, ухватиться за предложение городской управы возглавить цех на обувной фабрике? По приказу оккупационных властей ее намеревались создать в городе. В управе сказали, что знают Сергеева как отличного мастера сапожного ремесла, ценят его и, если он оправдает надежды, то вместе со всей своей семьей заживет, не зная бед, окруженный заботой новой власти.

Иван Сергеевич ничего не сказал жене и дочери о предложении управы и о том, что, сославшись на плохое здоровье, он отклонил его. На тревожные вопросы Татьяны Дмитриевны, как же они будут жить дальше, откуда возьмут деньги, продукты,— отвечал уклончиво и недовольно: мол, погоди, дай хоть немного осмотреться.

Осматриваясь, Иван Сергеевич заметил, что от «забот» и внимания гитлеровской городской управы многие, как он застрявшие в Орле рабочие люди, спасаются одинаково, превращаясь вдруг в частников, в кустарей-одиночек. Ничего, что они часто, в отличие от всплывших на поверхность всякого рода проходимцев, спекулянтов и жуликов, чьи имена запестрели на новых аляповатых вывесках лавок, комиссионных магазинов, кафе, легко размещали свою «фирму» в углу жилой комнаты или в полутемном коридоре.

Патенты новоиспеченным «фирмам» управа выдавала весьма охотно, поощряя частную инициативу, доверяя тем, кто ее проявлял. И многие земляки Сергеева, которым недавно и во сне присниться не могло такое ремесло, загромождали свое жильё кто портняжным столом, кто верстаком столяра.

— Чем работать на их фабрике, да еще руководить цехом, — решил Иван Сергеевич,— стану-ка я лучше кустарем-сапожником. Правда, бедолаг таких в городе и без меня предостаточно. Да, ладно, хватит дела на всех, не прогорит и моя «фирма».

С ее открытием нужно было поторапливаться: Сергеева вновь вызывали в управу, и разговор там был куда менее любезный, чем в первый раз. Отказ его принять выгодное я лестное предложение вызывал подозрения: чем же думает прокормить себя и свою семью глупый упрямец и вообще намерен ли он приносить пользу городу и новой власти?

Теперь он часто допоздна при огарке свечи или копилке сбивал и сшивал развалившуюся обувь своих клиентов. Порой случался и заказ из материала, неведомо, где и каким образом добытого, на пару модных женских полуботинок. Но это было исключением. Перед ним всегда лежала гора такого безнадежного старья, которое — будь другие времена — и в утиль вряд ли годилось бы. Но руки мастера снова превращали его в обувь.

Сколько раз вот так, за полночь, не разгибая спины в работе, вел Иван Сергеевич безмолвный разговор с Володей. Казалось, сын тихонько присел рядом и глядит на отца из полумрака, слушает, что тот ему говорит.

А говорил отец всегда об одном. О том, что никогда не терял надежды отыскать сына, верил: они встретятся. Верил вопреки всему, что сейчас разделяло их, что нависло почти неотвратимой смертельной угрозой.

Знать точно, где, в каком небе воевал вчера, воюет сегодня и будет воевать завтра любимый сын, Иван Сергеевич не мог. Летает ли Владимир и ходит ли вообще по земле? Война есть война. Тут минуту назад человек мог быть живым, здоровым, а вот уже и нет его. Тем более — летчик...

В письмах с фронта не положено было сообщать лишнее, но в последнем солдатском треугольнике, который получили они от Володи, сын дал понять: его боевые пути пролегли так, что по «очам родной город будет слышать его самолет. Вот почему всякий раз, когда над Орлом возникал рокот моторов наших бомбардировщиков и фашистские зенитки встречали их остервенелым лаем, отец готов был поверить: это прилетел сын.

Так было и в ту июльскую ночь 1942 года.

В доме Сергеевых никто не сомкнул глаз. Вся семья вышла на крыльцо. Прижавшись друг к другу, в страхе и надежде следили они за небом. Иван Сергеевич чувствовал, как дрожит жена. Дочь то закрывала лицо ладонями и прислонялась к груди отца, то, оторвавшись от него, снова поднимала к небу широко раскрытые глаза. И тогда по лицу ее металась отражения зловещих огней.

Нине было шестнадцать лет. Она такая же, как мать большеглазая, с длинными ресницами и бровями вразлет; с волнистыми тёмными волосами, зачесанными назад и обрамляющими чистый, без морщинок, умный лоб; с таким же нежным овалом лица и мягкими складками по углам немного крупного рта. Их часто принимали за сестер или подруг: Таня выглядела очень молодо... Но когда это было? Давно, очень давно — в той, другой, настоящей жизни, до войны и фашистской неволи. А сейчас они обе — и мать, и дочь — стали сразу намного старше своих лет. Да и ему, пожалуй, дадут за пятьдесят — почти на десять лет больше, чем прожил он на самом деле.

— Проклятые! Они его не выпустят. Сейчас попадут... Миленькие, родненькие, да уходите же, уходите! — шептала Нина, словно ее мольбу и советы могли услышать там.

— Ну же, ну же! — вторил дочери отец, — Вот так, вот так... Еще в сторонку, еще... От прожекторов уходи, от прожекторов! Дальше, дальше!

Как только кончилась эта бессонная ночь, Иван Сергеевич поспешил за город, куда, где был сбит советский бомбардировщик.

Место его гибели по разбросанным огромной силой взрыва изуродованным моторам, обломкам хвостового оперения и крыльев Иван Сергеевич нашел легко. Несмотря на ранний час, в поле уже собрался народ — крестьяне из ближней деревни и городские жители.

«Будь ты трижды проклят, комендантский час вместе с теми, кто тебя породил!» — досадовал Иван Сергеевич, что не мог поспешить к сынку тотчас же, ночью. Сергеев томился, нервничал, не желал прилечь. Никто не мог успокоить его, убедить, что вовсе это не Володька выбросился кз горящего самолета.

Иван Сергеевич с ненавистью прислушивался к гулкому топанию патрулей на притаившихся улицах, к их лающей речи. С рассветом, когда наступила, наконец, тишина, заторопился. Не шел, почти всю дорогу бежал, тяжело дыша, прижимая левую руку к пруди, словно так можно было утихомирить разбушевавшееся сердце.

И все же вовремя не поспел. Не он — отец Володьки, а эти незнакомые старушки и старики да малые ребятишки оказались здесь первыми. Определили они его не просто так, не из любопытства. Нужно было поскорее сделать для наших летчиков все, что можно. Прежде всего — погибших предать земле. Могильные холмики аккуратно подровняли и укрыли полевыми цветами.

Сергеев постоял перед ними с непокрытой головой, с тяжкими думами о сыне.

Останки летчиков не позволяли определить, как выглядели погибшие — молодые они или пожилые, блондины или брюнеты, какого телосложения. Да и тех, что спустились на парашютах, тоже близко увидеть не пришлось. Люди знали лишь то, что один из летчиков

навряд ли ушел. Так его и не схватили. Криками, угрозами пытались его остановить, палили ему вслед из автоматов, винтовок и пистолетов. Обшарили каждую ложбинку, каждый кустик. Все — напрасно. Словно сквозь землю провалился.

А вот второму не повезло. Мог бы тоже ускользнуть, да прямо на немцев напоролся. Скосили они его на железнодорожной насыпи. Убили? Зачем им пленного сразу убивать? Это они всегда успеют. Изрешетили пулями и раненого увезли в город на допрос. Каков он из себя? Туг вот тетка одна рассказывала — мол, близко возле телеги, где он лежал, прошла. Совсем, говорит, молоденький, лет восемнадцать ему, не более... Без сознания лежал.

«Лет восемнадцать?! Столько же и Вовке. Он смелый — живым враг его не возьмет, даже безоружного».

Весь день ушел на поиски. Вели их Иван Сергеевич и Нина. Татьяна Дмитриевна дождалась дома. Места себе не могла найти. А вдруг и в самом деле тот, захваченный немцами, изрешеченный пулями летчик — Володя, их сын?! Ведь все может быть. Правда, Татьяна Дмитриевна и Нина не очень-то полагались на уверения Ивана Сергеевича, что он отыскал след Вовки. Мало ли молодых парней служат в нашей авиации? Но, с другой стороны, сколько неожиданных-негаданных, порой невероятных стечений обстоятельств преподносит людям эта страшная война. И потом, если даже окажется, что раненый летчик — не Володя, все равно не напрасны будут поиски. А вдруг он и Володя служат в одной части, летали вместе? Или как-нибудь иначе знают друг друга. Уже заодно это можно поблагодарить судьбу.

Что там ни думай, каких догадок ни строй, а сложа руки, не сиди. Необходимо, прежде всего, подготовить передачу. В больнице тот паренек или в лагере военнопленных, они обязаны ему помочь всем, чем в состоянии. Они — не солдаты, не воюют за Родину. Ничего, если откажут себе в чем-то необходимом, ничего, если придется им и поголодать...

Ивану Сергеевичу и Нине удалось, наконец, разузнать, что летчик в городской тюрьме, где немцы устроили лагерь военнопленных, не содержался: увезли в Русскую больницу.

Русская больница... Такое название лечебного учреждения могло смутить Гомзикова — человека, нового в Орле. Но для орловцев к тому времени, о котором ведется повествование, ничего странного в этом названии не было. Они знали, почему больница зовется русской, где она находится, кого и как лечит.

Не было это тайной и для Сергеевых.

Иван Сергеевич и Нина поспешили домой.

— Очень правильно, Танюша, — сказал Сергеев, увидев, что передача готова, — хорошо, что ничего не пожалела. Как-нибудь перебежусь. Лишь бы он не голодал. — Иван Сергеевич благодарно улыбнулся жене и коротко бросил дочери: — Поаккуратнее уложи в кошелку и пошли!

Нина с обычной своей исполнительностью заторопилась.

— Ваня, скажи ты, ради бога, — остановила мужа Татьяна Дмитриевна, — что вы узнали об этом летчике? Только, где он? И больше ничего?

— Некогда было все узнавать, да и не у кого...

— Повремени немножечко, мама, увидим его, тогда вот и узнаешь, — поддержала отца Нина.

— Это что же, — возмутилась Татьяна Дмитриевна, — опять меня одну оставить хотите?! Нет уж — ни за что!

— Так ведь — неблизкий путь, — слабо сопротивлялся Иван Сергеевич. — Знаешь, небось, где находятся инфекционные бараки? И потом всем колхозом туда отправляться тоже нельзя. Как бы ни было беды.

Ему и хотелось, и не хотелось, чтобы жена пошла с ними. Измученная тревогами и волнениями за сына, издерганная страхом, как бы немцы и полицаи не арестовали мужа, не отняли у нее и дочь, Татьяна Дмитриевна чувствовала себя в последнее время скверно. Много сил и здоровья ушло на постоянные заботы о том, чтобы семья как-то сводила концы

с концами: умереть с голоду в их положении чего уж легче.

Ивану Сергеевичу было не просто удержать ее дома на рассвете, когда он побежал к месту гибели самолета. А разве легко согласилась она отпустить его с Ниной на поиски раненого летчика? Разве не рвалась пойти вместе с ними? Ведь мать она, мать!.. Он пустился на все ухищрения, чтобы уберечь ее от опасности. Лучше, пожалуй, и сейчас побыть ей дома — подальше от фашистских патрулей.

Но, с другой стороны, Иван Сергеевич не мог избавиться от мысли, что, быть может, увидит, наконец, сына — пленного, раненого, умирающего, но их Вовку, по которому они так истосковались. А если не его, то уж, по крайней мере, человека, который наведет на след сына, будет в состоянии сказать, жив ли сынок, где он, что с ним... И тут очень бы хорошо чувствовать рядом плечо жены.

— А ты как считаешь, Танюша? — спросил Иван Сергеевич, ласково заглянув в большие черные глаза жены, — лучше нам всей семьей, а?

— Конечно, Ванечка, конечно, — поняла его Татьяна Дмитриевна, — если пустят к нему, так всех, а не пустят — тоже всех. И тебе будет легче, и мне...

Да, летчик, которого они разыскивали, находился в одном из корпусов, где до войны лечили инфекционных больных. Но к нему никого не допускали, кроме медицинского персонала, сообщила санитарка, назвавшаяся Дусей. Во-первых, потому, что он без сознания, а, во-вторых, по той причине, что свидания с ним запрещены немцами. Строго-настрого. Под личную ответственность лечащего врача.

Передачу санитарка приняла, поблагодарила за нее и еще сказала, что Гомзикову она будет очень даже полезна, поможет выжить.

— Как, как вы говорите? — спросил Иван Сергеевич, будто ослышался. — А его разве не Сергеевым зовут?

— Сергеевым? Нет, нет, — ответила санитарка. — Гомзиковым. Это — точно. — И добавила, протягивая обратно кошелку с гостинцами: — Вы ошиблись. Сергеев к нам не поступал.

— Что вы, что вы, девушка! — придя в себя, отстранился Иван Сергеевич.

Татьяна Дмитриевна и Нина в один голос поддержали:

— Зачем возвращаете? Берите, берите! Этому летчику...

— Хорошо, я передам. До свидания. Но Иван Сергеевич не дал ей уйти.

— Что передачу ему вручишь, это часть дела, — сказал он, взяв девушку под руку и отводя в сторону. — Нам повидать его нужно. Понимаешь? Вот как нужно, — Сергеев пропел ребром ладони по горлу. — У меня вот, и у нее, — он кивнул головой в сторону жены, — сын, у нее, — показал на дочь, — брат родной, тоже летчик, воюет где-то, а где — не знаем. Поняла? Ты уж посдействуй. Очень мы его повидать хотим.

— Но Гомзиков без сознания, — ответила санитарка, — нельзя к нему. Никак нельзя! — Она помолчала и смягчилась. — Дней пять-шесть потерпите. Не обратитесь ли вам к доктору Гусеву, к Борису Николаевичу? Может, он что-нибудь придумает. Только нет, вряд ли пойдет Борис Николаевич на такое. Ведь головой своей отвечает. И перед кем — сами понять должны...

Сергеев последовал совету Дуси. Выждав несколько дней, он стал добиваться встречи с Гусевым. Но в больницу Ивана Сергеевича не пускали: Борис Николаевич не выражал готовности поговорить с чрезмерно настойчивым посетителем. Обстановка такая, что можно всего ожидать от этого незнакомого человека, проявляющего слишком большой интерес к пленному летчику. А вдруг — провокатор?

Иван Сергеевич пошел на хитрость. Он прекратил хлопоты о свидании с Гомзиковым, перестал добиваться беседы с доктором ради этого свидания. Появилась другая возможность зайти в больницу, а там при случае и объясниться с Гусевым. В больнице находился на излечении пожилой рабочий, сосед и приятель Ивана Сергеевича. К нему пускали легко. И не один раз.

Эти посещения день за днем, час за часом рушили стену отчужденности и

настороженности, вставшую между Сергеевым и Гусевым. Они помогли Борису Николаевичу быстрее и лучше понять: Сергеев не из тех, кого следует опасаться. Сосед Ивана Сергеевича — его тоже консультировал Гусев — рассказал доктору, как Сергеев застрял в Орле из-за злосчастной грыжи, как он горевал, что его не отправили на фронт, как удручен тем, что жена и дочь вовремя не уехали, и вот он должен теперь не только дрожать за их жизнь, но и добывать им хлеб, не продавая душу дьяволу.

* * *

В кабинете заведующего хирургическим отделением куда пригласили Сергеева, навстречу ему из-за стола, покрытого белой скатеркой, поднялся высокий, строгий на вид мужчина. Под густыми нависшими бровями глубоко сидели маленькие зоркие с хитринкой глаза. Аккуратно подстриженная, тронутая сединой бородка оттеняла бледность тщательно выбритых щек. По осанке, подтянутости, особой собранности его, Иван Сергеевич решил, что перед ним не просто многоопытный врач, но и проживший большую жизнь военный человек. Однако в последнем предположении Сергеев ошибся: кандидат медицинских наук Борис Николаевич Гусев был гражданским врачом. В армию он попал во время войны из центральной больницы Министерства путей сообщения, где возглавлял хирургическое отделение.

— Чем могу служить? — спросил Гусев и жестом предложил гостю стул. Сам сел по другую сторону стола, отодвинув на край его выстроившиеся в определенном порядке баночки с лекарствами.

Иван Сергеевич смекнул, что пространные объяснения тут ничего не дадут. К тому же на память пришли слова санитарки Дуси: «Ведь головой своей отвечает. И перед кем — сами понимать должны».

Не раздумывая, Иван Сергеевич достал из внутреннего кармана пиджака хорошо сохранившуюся фотографию и протянул Гусеву:

— Вот, посмотрите, пожалуйста, Борис Николаевич, и войдите в мое положение...

— Что такое? Ничего не понимаю, — пожал плечами Гусев. Но фотографию взял бережно и стал внимательно, долгим взглядом изучать.

Сергеев спешил тем временем высказаться:

— Это — Володя, мой сынок... Понимаете, доктор? Видите какой? — голос Ивана Сергеевича дрогнул. — Летчик, сержант, а теперь, может быть, старшина или даже больше. Воюет где-то. Если жив. Кто знает? Думаешь про него как про живого, а может, поминки справлять пора. Воюет. Если не ранен. А вдруг того хуже — в плен попал, и, как ваш Саша Гомзиков, со смертью борется, от ран, голода и неволи страдает. Я — отец, понимаете, Борис Николаевич, отец советского летчика...

Гусев оторвал взгляд от фотографии и взглянул прямо в глаза своего собеседника.

— Я — тоже отец, — ответил он мягко, — и у меня сердце, а не камень. Но, насколько мне известно, наш пациент — сын Дмитрия Гомзикова, а не Ивана Сергеева.

— Совершенно точно, доктор, — подтвердил Иван Сергеевич, — да не в том суть. Ну, как вам это объяснить? Слов подходящих не найду... Пусть Дмитрия Гомзикова сын, а я хочу, чтобы он был моим сыном, здесь, до поры до времени. А моего Вову, может, где-нибудь усыновит другой отец. Другая семья позаботится о нем, как мы тут о Саше Гомзикове. Понимаете, о чем я прошу?

— Все понимаю. Иван Сергеевич, — сказал Гусев и порывисто отвернулся. От Сергеева, однако, не ускользнуло растроганное выражение его лица.

— Дайте мне его повидать, побыть с ним, поговорить, как говорят отец с сыном, — продолжал Иван Сергеевич. — Знаю, для вас это — риск, большой риск. Но уважьте, очень прошу. Найдите какую-нибудь лазейку. Я все сделаю, только прикажите.

Гусев поднялся из-за стола. Заложив руки за спину, нервно заходил мимо сидящего посетителя от стены к стене, ни слова не говоря. Потом вдруг резко остановился перед Сергеевым и за все время их беседы впервые улыбнулся.

— Это же надо, а? словно по заказу, честное слово. Тогда выход у нас с вами найден, лазейка, как вы выражаетесь.

Он снова стал серьезным.

— Слушайте меня внимательно, мой друг. Вас будут пускать к Гомзикову. Так часто, как позволят обстоятельства. Посещение начнете дней через семь-восемь, раньше нельзя. Пока ограничимся регулярными передачами. А потом санитарки получают соответствующие указания. Запомните: вы — пациент доктора Гусева. Вам предстоит оперировать вашу застаревшую грыжу. Вы же ходите сюда, готовясь к операции. Кто бы ни спросил, что вы делаете в больнице, как и зачем сюда попали,— ответ у вас только один. Поняли?

Все понял, Борис Николаевич, все понял, дорогой.

— Ну вот и хорошо. До свидания через неделю, — Гусев протянул Сергееву руку.— Впрочем, нет, погодите... Приходите-ка сюда завтра. Моему коллеге, доктору Протопопу Сергею Павловичу будет интересно с вами познакомиться, побеседовать.

Сергей Павлович, как подметил это Сергеев, отличался от Бориса Николаевича неторопливостью в движениях и словах, улыбочивостью, уравновешенным и спокойным характером. Ростом он был выше Гусева. Это подчеркивалось тем, что свои темно-синие, изрядно поношенные брюки, носил Протопопов не навыпуск, как Борис Николаевич и все врачи, а заправленными в голенища простых кирзовых сапог. Суконный, выдавший виды китель с высоким глухим воротом плотно облегал широкие плечи. На грудь, которую Протопопов держал прямо, не сгибаясь, ложилась большая, буйно разросшаяся, давно не имевшая дела с ножницами борода. Сергей Павлович казался старше своих сорока с небольшим. Только глаза под высоким лбом, серые, по-молодому зоркие и приветливые, могли навести на мысль, что Протопопов желает выглядеть человеком преклонных лет.

Трудно было подумать, что этот обросший бородой, внешне огрубевший человек всего год назад, в июне сорок первого, сменил на военную форму штатский, сшитый по моде и хорошо сидящий на его стройной фигуре костюм.

Уже не в первый раз оставлял он научную работу в Институте хирургии Академии медицинских наук СССР, уезжал из Москвы в действующую армию. У Сергея Павловича Протопопова был за плечами Халхин-Гол — боевое крещение, операции раненых, только что вынесенных из-под огня.

Когда Протопопов направлялся к Сергееву по длинному узкому коридору, Иван Сергеевич обратил внимание на походку хирурга. Сергей Павлович шел медленно, широким шагом, голову держал чуть набок и смотрел вниз, словно не хотел, чтобы случайный встречный разглядел выражение его глаз.

Они уединились в кабинете Гусева.

С первых же слов Протопопова Сергеев понял, что тот все уже знает о нем, и не стал удивляться, когда услышал:

— Фото сына принесли? Ну-те-ка, разрешите мне взглянуть.

Сергей Павлович поудобнее сел у окна, так, чтобы свет с улицы хорошо падал на фотографию Владимира, и радостно улыбнулся.

— Хорош! Ах, до чего же хорош! — сказал он.— Вот какие у нас с вами сыновья, Иван Сергеевич. Они нас в обиду не дадут. Нет, не дадут! И мы их — правда? Только не нужно вешать головы. Все вернется. И сыновья. И прежняя жизнь. Нужно лишь запастись терпением да не сидеть, сложа руки. От нас с вами тоже кое-что зависит.

Они помолчали, каждый думая о своем, а вместе задавая себе одни и те же вопросы: когда, когда же это будет? Останутся ли в живых к тому времени сыновья? А они сами, отцы, доживут ли?

— Во-, что, дорогой Иван Сергеевич,— прервал молчание Протопопов и мягко положил свою большую длиннопалую ладонь на руку Сергеева,— давайте поговорим с вами о деле. Об очень важном деле, в котором весь наш коллектив — врачи, санитарки, раненые, больные — очень рассчитывает на вашу помощь. Поговорим откровенно.

И Протопопов рассказал, как туго приходится Русской больнице. Только отбросы, гниль, совершенно испорченные продукты отпускаются ей. Да и то в виде особой милости. Доброе дело сделал начхоз госпиталя Петухов. Немцы уже в городе хозяйничали, а он с такими же отчаянными, как сам помощниками, перетаскал с госпитального оклада и припрятал муку, крупу, сахар, жиры. Отвел голод на первое время. Но не мог же он все запасы продовольствия спасти. И так головой своей рисковал. Первое время продержались. А теперь тем и живет больница, что приносят добрые русские люди — крестьянки из ближних деревень и горожане. Отказывают себе в последнем куске. Погибли бы все, кто попал сюда на лечение, и в первую очередь — воины, взяты немцами в плен, не будь поддержки населения. Много раз Протопопов сам ходил по окрестным селам. Врачевал, вел беседы с людьми, объяснял положение раненых...

— Хорошие люди понимали, что от них требуется, и ничего не жалели,— сказал он.— Плохих же, тех, кто многое позабыл, мы обходили стороной. Но время шло, а голод все сильнее затягивал петлю. И вот что я придумал, друг мой, Иван Сергеевич. Уже за одно то, что вы делаете для Гомзикова, я готов вас от всей души обнять; и расцеловать. Но давайте-ка представим себе на минутку, как было бы здорово, если бы не один Гомзиков обрел себе здесь родную семью — отца, мать, сестру.. Дело ведь не ограничивается только продуктами питания, хотя — чего уж там! — без них нам не обойтись: с голодом шутки коротки. Главный смысл в несравненно большем — моральной поддержке. Да что вам объяснять!.. Я не спрашиваю вашего согласия, потому что уверен в нем.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Бригадный врач Вениамин Александрович Смирнов был вызван в штаб Орловского военного округа к тринадцати часам.

Этот пожилой мужчина крепкого телосложения, чуть сутулый, с лицом задумчивым и строгим, многое повидал, через многое прошел на своем веку.

Он принадлежал к числу тех военнослужащих старой царской армии, которые сразу же, по велению сердца, перешли на сторону молодой советской республики, чтобы до своего смертного часа, до последнего вздоха, наперекор любым испытаниям, быть верными ей. Смирнов оборонял от белых банд красный Питер, ходил в атаки под Псковом в отрядах только что рожденной рабоче-крестьянской Армии. С кавалеристами Первой Конной, в посвисте клинков, в треске пулеметов громил офицеры и белоказаков в степях юга. Когда кончились бои, Вениамин Александрович стал служить врачом в стрелковых частях.

...«Эмочка» — лимузин марки «М-1» — везла Смирнова по мрачным улицам. Низко висело осеннее небо, как бы придавившее к земле серую мглу. Она пахла гарью, битым кирпичом, сыростью. То и дело приходилось объезжать развалины — следы налетов немецкой авиации.

Со стороны вокзала доносились раскаты, будто там, над дымами паровозов, собиралась гроза. Один далекий

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Бригадный врач Вениамин Александрович Смирнов был вызван в штаб Орловского военного округа к тринадцати часам.

Этот пожилой мужчина крепкого телосложения, чуть сутулый, с лицом задумчивым и строгим, многое повидал, через многое прошел на своем веку.

Он принадлежал к числу тех военнослужащих старой царской армии, которые сразу же, по велению сердца, перешли на сторону молодой советской республики, чтобы до своего смертного часа, до последнего вздоха, наперекор любым испытаниям, быть верными ей. Смирнов оборонял от белых банд красный Питер, ходил в атаки под Псковом в отрядах только что рожденной рабоче-крестьянской Армии. С кавалеристами Первой Конной, в

посвисте «линков, в треске пулеметов громил офицеры и белоказаков в степях юга. Когда кончились бои, Вениамин Александрович стал служить врачом в стрелковых частях.

...«Эмочка» — лимузин марки «М-1» — везла Смирнова по мрачным улицам. Низко висело осеннее небо, как бы придавившее к земле серую мглу. Она пахла гарью, битым кирпичом, сыростью. То и дело приходилось объезжать развалины — следы налетов немецкой авиации.

Со стороны вокзала доносились раскаты, будто там, над дымами паровозов, собиралась гроза. Один далекий удар грома, второй, третий... Короткая тишина, именовала железнодорожной станции или, может быть, поближе — на заводе имени Медведева, взрыв за взрывом с короткими интервалами. Неужели опять воздушный налет? Теперь уже днем?

Вениамин Александрович, так и не додумав до конца, что же там такое происходит, стал размышлять о другом. Его одолевали тяжкие заботы.

Ему многое, очень многое нужно было успеть в течение сегодняшнего дня. На попечении Смирнова, начальника госпитальной базы армии, находилось несколько крупных военных медицинских учреждений, расквартированных в Орле. Он отвечал за жизнь и здоровье раненых, которые лежали в госпиталях, за то, чтобы все они и многочисленный медицинский персонал, в случае чего, были своевременно и хотя бы в относительной безопасности эвакуированы.

И сегодня с рассвета он делал все возможное. На станции «выбивал» под погрузку раненых вагоны, контролировал их оборудование и дезинфекцию. Потом снова мчался в госпитали. Ведь — тяжелораненые, как бы в спешке не было беды... Он инструктировал медицинский персонал. Одним оказывал поддержку в их стремлении поскорее уехать вместе с ранеными. Других удерживал от поспешных решений и опрометчивых поступков, напоминал о долге воинском и врачебном. Он был строгим, взыскательным, даже придирчивым, когда того требовали обстоятельства.

Ему бы сейчас мотаться между вокзалом и госпиталями, «е давая передышки своей неутомимой «эмочке» с красными крестами по бортам и по верху. Ему бы заниматься делом, а приходится ехать по вызову санитарного отдела штаба округа. Пожалуй, это сейчас единственный отдел, который еще остался в опустевшем здании штаба. Смирнов отчетливо представил себе, как осенний ветер гуляет по захламленным комнатам и гулким, обезлюдившим коридорам.

Нет, это обстоятельство не вызывало излишне обостренного чувства тревоги. Смирнов был далек от мысли, что копь скоро штаб округа эвакуируется, значит, к городу подступила непосредственная угроза. Штаб округа есть штаб округа, рассуждал Вениамин Александрович, естественно, ему могли определить другое место, на известной дистанции от фронта. А что касается положения Орла, то не следует доверять слухам. Разве не вчера на железнодорожной станции выгружали тюки мануфактуры, одежды, обуви? И откуда! Из поезда, только что прибывшего со стороны Москвы. Он видел собственными глазами. И знал, что это подействовало отрезвляюще на многих, кто утверждал, будто фронт в направлении Орла прорван и не сегодня-завтра тут могут быть немцы.

Начальник госпитальной армейской базы подобно своим коллегам военным врачам, ждавшим вместе со своими пациентами сигнала к эвакуации, многого тогда не знал.

Если бы он несколькими часами позднее оказался не в штабе округа, а в окружном госпитале, рядом с Матросовым, Гусевым, Протопоповым и Беляевым, то, как и они, выглядел бы в глазах нагрянувших туда солдат человеком не от мира сего.

То была горсточка артиллеристов, спаянных боями, опасностями, лишениями и горечью отступления. На потрепанном грузовичке они въехали во двор госпиталя. Молоденький красноармеец метался и стонал в кузове на смятой соломе и грязных шинелях товарищей. Он был тяжело ранен в голову. Его унесли в перевязочную.

Солдаты быстро поднялись на крышу госпиталя. Потом они так же быстро спустились, и один из них спросил, сделана ли раненому перевязка и каково мнение врачей о его состоянии. Ему ответили, что состояние тяжелое, необходимо оставить товарища в

госпитале. «Это что же,— переспросил солдат и горько усмехнулся,— немцам, что ли в плен оставлять?» — «А разве они близко?»— задал вопрос Беляев, не зная, как странно должен он прозвучать. — «Да вы тут, словно на луне,— опять усмехнулся старший группы. — С крыши у вас ихние танки видны».

Автомашина с солдатами умчалась, а Матросов, Гусев, Протопопов и Беляев стояли посреди двора ошеломленные, растерянные.

...По коридорам штаба округа гуляли сквозняки. Только на узле связи еще находились люди. Услышав шаги Смирнова, оттуда выглянул старший лейтенант. Он не очень четко отковырял и снова скрылся в глубине комнаты, где настойчиво цокал телеграфный аппарат.

В санитарном отделе Смирнова дожидались два штабных офицера. Они нервно вскочили ему навстречу и оба одновременно взглянули на часы с таким видом словно те показывали не ровно тринадцать и Вениамин Александрович давным-давно опоздал.

— Вы на какой машине прибыли, товарищ бригадный врач?— торопливо и нервно спросил один из них! хватая со стола туго набитую полевую сумку. Щегольским своим видом она свидетельствовала, что хозяйин ее с фронтовой жизнью знаком мало.

— На своей,— ответил Смирнов,— на единственной, которая оставалась в распоряжении госпитальной базы.

— Вы ее куда не услали, она здесь? — задал свой же торопливый вопрос другой офицер, пристегивая к портупее планшет.

— Я бы хотел знать, кто и для какой надобности меня сюда вызывал? — по обыкновению мягко, как бы извиняясь, обратился Смирнов к тому, кто был старше в звании.

— Не будем терять драгоценного времени, товарищ бригадный врач,— последовал ответ,— пройдем к машине, там вам все объясним, там и вручим предписание. Того, кто вас вызывал, в городе уже нет. Мы выполняем его команду. Прошу вас, пошли!

И офицер с щегольской сумкой распахнул перед Смирновым дверь, шагнул за ним, скрипнув сапогами, через порог.

Этот штабной франт, да и тот, второй, вызывали у Вениамина Александровича неприязнь. С какой стати; оторвали они его от дела? Кто им дал право разговаривать с ним в таком развязном тоне? У него в петлицах ромбы, а у них «шпалы», да и тех маловато. Он имел полное право заставить их вести себя скромнее, поставить на свое место.

Но не в характере Смирнова было повышать тон, где надо и где не надо пользоваться своей властью, высоким воинским званием и служебным положением. По натуре воспитанию, по сложившимся долгими годами привычке и манерам обращаться с людьми, Вениамин Александрович был человеком сдержанным, болезненно щепетильным. Может быть, именно на эти его человеческие качества и делали ставку два щеголя, случайно затесавшиеся в штаб?

Предписание, которое они вручили ему на крыльце (пока один из них протягивал Смирнову бумагу, другой уже успел забраться в «эмочку» и давал какие-то строгие указания шоферу), обязывало начальника армейской базы незамедлительно сдать подателю сего легковой автомобиль «М-1» номер такой-то...

Все произошло настолько быстро, что Вениамин Александрович не успел даже проститься со своим шофером. В первое мгновение Смирнов почему-то больше всею пожалел об этом.

Машина умчалась, а он остался на пустынной холодной улице. Что же делать дальше? Как быть ему теперь без средств передвижения? Нужно предпринимать экстренные меры. Ему должны выдать другую машину взамен отнятой, пусть старенькую, пусть грузовую, какую угодно; без нее обойтись невозможно. Его ждут в госпиталях, в эвакуопунктах, на вокзале. Попробуй поспей туда пешком. Но к кому обратиться?

Смирнов снова идет гулками коридорами штаба. Поднимается на второй этаж. Он уже почти бежит мимо пустых неприветливых, неудобных комнат. Никого. Ни души. Что делать? Что делать?

Вдруг до его слуха опять донеслось цоканье морзянки на узле связи. Скорей, скорей к молоденькому, неумело козырнувшему старшему лейтенанту — связаться с Москвой, все объяснить, обо всем доложить!

— Ничем помочь не могу, товарищ бригадный врач, — печально сказал ему старший лейтенант. — Связь с Москвой прервана. Нам приказано сниматься.

Вениамин Александрович опять вышел на крыльцо. Все так же висела над городом ледяная душа мгла. Громовые уханья со стороны вокзала смолкли. Было очень тихо. Смирнов машинально отогнул рукав плаща и взглянул на часы: маленькая стрелка уже перешагнула цифру три.

И тут, впервые за весь этот жуткий день, Вениамин Александрович вспомнил о жене. Только бы не раздумала и не отказалась от того, что решено между ними на крайний случай. Да, хорошо бы: приди он домой, а она уже сделала так, как обещала ему, и теперь находится в пути... Зачем, зачем только согласился он, чтобы Аннушка перебралась с ним из Тамбова в Орел?

Он вспомнил Тамбов двадцать второго июня.

Лето 1941 года начиналось для него, для их семьи с радостных перемен. В праздник Первомая Вениамин Александрович получил повышение в воинском звании и вот уже ему предлагают новое назначение, большую почетную и более интересную работу, переезд в центр военного округа — Орел. Случилось так, что новый начальник окружного госпиталя бригадный врач Смирнов с супругой прибыли из Орла в Тамбов за своими вещами, в то самое утро, когда началась война. Где им было теперь думать о шифоньере, кроватях, письменном столе и книжном шкафе, которых ждет новая квартира на новом месте. Смирновы отправились обратно в тот же день, налегке — только с двумя чемоданами в руках. Вениамин Александрович пробовал уговорить жену остаться в Тамбове: ведь по дальше все-таки от фронта, меньше опасности, да и город обжитой, друзей и знакомых полно. Какое там! Слушать не захотела. Только бы всегда быть с ним рядом. Любая опасность ей не страшна, если они не разлучатся. Позднее, в Орле, он мог отправить Анну Николаевну в тыл вместе с женщинами и детьми, опасавшимися от бомбежек, от ужаса жизни в городе, на который фашисты методично и беспощадно обрушивали смерть.

Нет, она никуда от него не уедет. Он уже пожилой человек, ему нужна постоянная женская забота. И потом пусть он не забывает, что и она не очень-то крепка здоровьем. Без него кто же за ней, как следует, присмотрит?

«Ах, Аннушка, Аннушка, разве я не видел, что ты хитрила, что ты страшилась только одного — не раскидал.

Он не стал настаивать.

На пути в окружной госпиталь Вениамин Александрович забежал на минутку домой перекусить и убедиться, что Аннушка уже уехала. Дверь ему отворила... жена. Почему она не поступила, как они условились, зачем осталась?

Вениамин Александрович ощутил тупую, ноющую боль в сердце. Но, не желая тревожить жену, Смирнов пытался даже шутить. Анна Николаевна все прекрасно понимала. И, сдерживая крик отчаяния, который вот-вот готов был вырваться из ее груди от мысли, что они здесь забыты, брошены на произвол судьбы, тоже старалась говорить о чем угодно, но только не о том, о чем следовало.

Она понимала: муж пришел пешком, обессиленный, ему очень трудно примириться с мыслью, что он теперь — птица с подрезанными крыльями: не может поспеть к своим раненым в разные концы города, позаботиться о них, помочь им вырваться из Орла.

Анна Николаевна никогда не расспрашивала мужа о его служебных делах. Вениамин Александрович сам — и это случалось часто — рассказывал ей и о хорошем, и о плохом, и она была в курсе того самого главного, чем он жил. Если он являлся домой ранее обычного, если вдруг не спешил, когда нужно было ему уходить по своим неотложным делам, ее не радость охватывала, что вот они побудут лишний часок вдвоем, а, напротив, беспокойство: видно, что-то у мужа на службе выбилось из колеи. Так было и в эти первые месяцы войны.

Вениамин Александрович теперь появлялся дома с каждым днем все чаще и порой в самое необычное время. Анна Николаевна понимала: беспокоится о ней. Но задерживался дома ненадолго, автомобиля не отпускал, и снова мчался «уда-то озабоченный, деятельный, нужный людям».

А сейчас, когда он встал из-за стола, надел китель и потянулся к вешалке за плащом, она не выдержала:

— Куда ты собрался, Веня? — голос ее дрогнул от волнения.

— В окружной загляну, — сказал он спокойно и ровно, как говорил до этого много раз, направляясь в окружной госпиталь. Но жена не отступала:

— Не нужно сейчас, Веня. Прошу тебя, слышишь! Очень прошу... Тебе необходимо прилечь.

— Ради бога, не искушай, — пошутил Вениамин Александрович. — А то завалюсь на весь день и на всю ночь без перерыва. Не добудешься тогда, пожалеешь!

Он застегнул плащ на все пуговицы, поправил как обычно перед зеркалом фуражку и, поцеловав жену, вышел.

Когда дверь за шиной Вениамина Александрович захлопнулась, лицо его сразу приняло другое выражение — растерянное, страдальческое. Конечно, ему следовало послушаться Аннушку: быть может, даже прилечь, отдохнуть. Боль в сердце приутихла бы и с плеч свалилась бы невыносимая тяжесть. Ведь не дойдет же он до госпиталя: к ногам, словно пудовые гири привязаны. Сердце пошаливает, так случалось прежде. Вот он пройдет по улице, глотнет свежего воздуха, и сердечко остепенится. Обязательно остепенится, не имеет права иначе! «Выйду на Комсомольскую, взгляну, что там и, если лучше не станет, поверну назад».

Вениамин Александрович спускался к центру переулками, которые вели по склону к реке Орлик. Был ли он готов к тому, что ждало его сейчас, через несколько минут, на Комсомольской улице? Сегодня, в минуты отчаяния, Смирнов представлял себе, что это не исключено: обстоятельства складываются самым безвыходным образом. Но, каких бы он ни делал над собой усилий это самое худшее, что было неотвратимым, не воспринималось сознанием, как не воспринимается живым здоровым человеком мысль о том, что в конце концов он навсегда уйдет из жизни.

Смирнов вдруг услышал лязг и гул танков, потом — стрельбу. Пулеметные очереди следовали одна за другой все ближе, ближе; вот они уже почти рядом. Когда пальба на несколько мгновений затихала, грозно нарастая, накатывался, как штормовой прибой, гул танковых моторов, перебиваемый лязгом гусениц.

Вениамин Александрович притаился за выступом стены углового дома и осторожно выглянул. До Комсомольской оставался еще квартал, но отсюда она была видна хорошо.

По ней двигались немецкие танки. Били в глаза черные кресты на броне. Короткие стволы пулеметов ходили из стороны в сторону, поливая огнем тротуары и дома.

Как он брел обратно? О чем думал? Какими словами собирался поведать об увиденном жене? Что вообще намеревался дальше делать? Никогда потом Вениамин Александрович не был в состоянии дать толковый ответ на эти вопросы. Так случается, проснешься от собственного сдавленного крика, испытаешь счастье, что кошмарный сон кончился; но вот отчего ты томился и кричал во сне, вспомнить никак не можешь.

Весь тот вечер и лотом всю ночь Анна Николаевна, не сомкнув глаз, просидела у постели мужа. О чем только она не передумала за эти долгие беспросветные часы, каткую душевную муку, какую тревогу вынесла!

Впервые в жизни сердце Вениамина Александровича так сдало. И не удивительно: сколько же может вынести оно?

Чем больше крепился Вениамин Александрович, тем острее чувствовал боль от ран, которые ему в этот день нанесли прямо в сердце. Враги в городе, из которого теперь не выбраться ни раненым, ни ему, ни Анне Николаевне. Что же он наделал? Он же обязан был

их эвакуировать. Его прямым долгом было знать об опасности, нависшей над ними, и предотвратить ее. Все эти люди верили ему, все надеялись на него, а он? Обрек их на самое страшное — плен...

Ни Вениамин Александрович, ни Анна Николаевна не могли предположить, что сердечный приступ Смирнова в ту ночь будет иметь далеко идущие, роковые последствия. Им было неизвестно и то, сколько еще впереди у него жестоких душевных ран — и в годы фашистской неволи, и, особенно невыносимые,— после освобождения, а затем — после великой Победы. Супруги Смирновы не могли, конечно, предвидеть, что счастье жить, восстановив свое доброе имя, наслаждаясь торжеством правды и справедливости, будет для Вениамина Александровича очень кратковременным.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вениамин Александрович засыпал ненадолго. Во сне метался, стонал. Проснувшись, возбужденно доказывал жене, что обязательно должен быть сейчас в своем госпитале, что лежать ему и бездействовать преступно.

Теперь, больной и беспомощный, черной ночью, когда за порогом ждала смерть, он повторял как в бреду: «Мой госпиталь... Мой госпиталь... Я пойду туда, обязательно пойду... Пойдем вместе, Аннушка».

С первыми проблесками рассвета Вениамин Александрович решительно встал и заявил жене, что все прошло, он чувствует себя вполне здоровым. Анна Николаевна не стала возражать, хотя вид мужа внушал серьезные опасения. Она только сказала, что никуда не отпустит его одного, даже шага он теперь без нее не сделает. Сказала вполголоса, но так, что муж понял: по-другому не будет.

— А ты думаешь, я тебя намерен оставить одну? — ответил он, пытаясь улыбнуться.— Как бы не так!

И они рука об руку направились в окружной госпиталь.

Вениамин Александрович был в своей обычной офицерской форме. Вот когда они спохватились, что его штатские костюмы остались в Тамбове. Да, собственно, была ли необходимость в переодевании, в маскировке?— усомнился Смирнов.- Ведь он принял решение вернуться к своим пациентам, а там от немцев незачем будет скрывать, кто он такой и ради чего пришел. Только на всякий случай, по настоянию жены, вывинтил из петлиц знаки различия — ромбы.

Утро стояло холодное, промозглое. Осень выдалась в том году ранняя, стремительная. Предвещала зиму суровую.

Анна Николаевна, кутаясь в шерстяную шаль, то и дело зябко прижималась к плечу мужа. Вениамин Александрович бережно держал жену под руку, чувствуя, как она дрожит, и, понимая, что это не от холода. Он и сам временами вздрагивал, бросал опасливые взгляды по сторонам, озирался; весь внутренне сжавшись, пережидал на поворотах и перекрестках.

Смирновым хотелось побежать без оглядки, чтобы путь этот кончился поскорее. Шли они не прямой и кратчайшей дорогой, а обходя магистральные улицы, отдавая предпочтение узеньким переулкам с их лужами, колдобинами, тупичками. Смирнов рассчитывал, что сюда немцы еще не добрались и страшная, но — увы — неизбежная встреча с ними произойдет не сейчас, не вот так — на пустынной улице в рассветный час.

Вениамин Александрович не знал, что оккупанты, вступив накануне к вечеру в город, прошли его из конца в конец и не торопились расползаться по районам. Здесь, в возвышенной части Орла, в стороне от его центра, фашисты в то утро еще не показывались. В глухих улочках и переулках, на плотине через узенькую речушку Орлик, впадавшую в Оку у городского сада, и дальше, за Орликом, в низинной части Орла, было тихо.

Вениамин Александрович и Анна Николаевна шли по городу, который казался брошенным людьми. И чем дальше, тем больше крепла у них надежда, что они поспеют в госпиталь до того, как там появятся немцы.

О чем думали Вениамин Александрович и Анна Николаевна на этом долгом, опасном

пути?

Конечно, о том, что ждет их впереди. Кого из врачей застанут они? Кто успел все лее вырваться из Орла, а кто нет? На чьем попечении раненые?

Временами Вениамин Александрович незаметно для себя убыстрял шаг, и Анна Николаевна едва поспевала за ним. Ему казалось, что если он сейчас поспешит, то, быть может, не поздно будет удержать в госпитале побольше врачей и вместе с ними сделать для раненых то, что сейчас крайне необходимо — уничтожить, скрыть документы, истории болезни. Уопеть бы только и не допустить, чтобы раненые были предоставлены сами себе в этот грозный день. Он понимал, что будет означать для них, если рядом с их койками перед торжествующим и злобствующим врагом окажутся военные медики, боевые товарищи, надежные люди, которым Родина вверила их жизнь, здоровье, надежду возвратиться в строй.

Вениамин Александрович не знал, что именно об этом говорилось минувшей ночью на коротком совете персонала окружного госпиталя. Тут находились Гусев, Протопопов, Матросов, Беляев (самый молодой из них, ему еще не было и тридцати), несколько других военных врачей, санитары, медицинские сестры. Горсточка отважных, верных до конца. Они не дрогнули, не смалодушничали, не разбежались. Они без колебаний отвергли подлые нашептывания — дескать, чего уж там, все, чем жили мы вчера, рухнуло, полетело к чертовой матери. Чему еще верить, на что надеяться? Нужно, нашептывали «благоразумные», поскорее принаравливаться к другой власти, к жизни, не имеющей ничего общего с той, вчерашней.

Они собрались в тесный кружок в одном из уединенных дворики, каких множество в переулках, обступивших госпитальные корпуса. Тут квартировали служащие госпиталя, хозяева у них были надежными людьми. В таком дворике можно было не опасаться, что их увидят или услышат, кому не следует. Разумеется, при соблюдении осторожности.

Разговор шел предельно краткий, прямой и суровый о самом существенном, о самом главном. А что могло быть сейчас для них главнее, чем судьба раненых, которые лежали рядом в палатах? Те, кто мог передвигаться с помощью костылей, покинули госпиталь. На запоздалых попутных машинах, в повозках, пешком группами, и в одиночку разбрелись они, кто куда: к вокзалу, за город, на проселки и лесные тропки, в деревни. Все — с твердым намерением: любым путем вырваться из клещей танковой армады фашистов, пробиться к своим. Остались лишь те, у кого не было иного выхода: тяжелые ранения пригвоздили их к койкам. Многих ждала неотвратимая смерть, если не вмешается хирург, если вовремя не придет на помощь медицина.

Как же можно допустить мысль — уйти от них?

Мнение было единодушным. Правда, один из врачей засомневался: дескать, что же это получается? Фронт ушел, а они, военные медики, остаются. Не дезертиры ли? Ведь место их — только там, где идет сражение, где льется кровь, где нужно спасать раненых бойцов.

Но сомневающегося не поддержали. Да и сам он не очень-то настаивал: видно, понял, что для советского человека — фронт везде, где в опасности свобода, честь и независимость Родины; фронт и там, где хозяйничают оккупанты, если волей судьбы ты оказался у них в тылу.

Наступило минутное молчание. Все смотрели в сторону начальника госпиталя — военврача третьего ранга Матросова.

Он явился сюда, во дворик, раньше всех с двухлетним сынишкой на руках. Где его жена, где остальные члены семьи, — никто не знал. Расспрашивать не стали: не до того было. Да и ничего из ряда, вон выходящего, в таком его появлении не усмотрели. Многие семьи в то время разметала война. Матери и отцы, как могли, спасали своих детей: пробирались с ними по земле, захваченной врагом, шли сквозь огонь и смерть через линию фронта, а если пройти не удавалось, принимали пули в грудь, заслоняли собой детей.

Спящего сынишку Матросова бережно взяла одна из санитарок. Не просыпаясь, ребенок доверчиво склонил головку на плечо этой пожилой женщины. Был он одет неумелой, к тому же торопливой, мужской рукой. Санитарка отошла с ним в сторону, чтобы

голоса не разбудили его, и, прислонившись к стволу дерева, чуть покачивала ребенка, напряженно вслушиваясь, куда клонится разговор, от которого зависела теперь и ее судьба.

Матросов понял, что все ждут его решающего слова.

— Приказываю, товарищи, — сказал он, — остаться по хирургу на корпус. Остаются военврачи второго ранга Протопопов, Гусев и Беляев. Здесь — ваш фронт, товарищи, нужно стоять насмерть! Может все случиться. От фашистских изуверов ждать пощады нечего. Надо быть готовыми ко всему.

Он перевел дыхание:

— Мне предписано пробиться через линию фронта.

Надеюсь это сделать. Мы встретимся с вами, товарищи! Обязательно встретимся! В освобожденном Орле. До встречи с победой, друзья!

Он коротко пожал протянутые ему руки, кого-то обнял, поцеловал, у кого-то ваял и спрятал в нагрудные карманы адреса родных. Да, это было так: он уходил на Большую землю, а они оставались в черном море вражеского нашествия.

Пожилая санитарка передала Матросову не проснувшегося сынишку. Отец прижал ребенка к груди. Одной рукой, уже на ходу, поправил рюкзак за спиной и исчез в темноте.

... Вениамин Александрович и Анна Николаевна остановились у ворот госпиталя, как вкопанные. Что-то невообразимое происходило там, в глубине двора. Прямо на земле, в беспорядке теснились носилки с тяжелоранеными. Они были в одном белье, ничем не прикрытые. Раненых выносили во двор русские люди. Смирнов узнал их — вот Протопопов, вот Гусев, вот медицинская сестра Аня Давиденко. Размахивая автоматами и что-то крича, их подгоняли немецкие солдаты.

Посредине двора приглушенно урчал мотором легковой «мерседес-бенц». Опершись ногой о его ступеньку, рядом стоял немецкий офицер. Пальцами в туго натянутой кожаной перчатке отбивал он такт по дверце, сверкающей черным лаком.

— Медленно! Почему медленно? Шнель, шнель!.. Я прикажу шиссен!... Всех — во двор! — командовал он.

Смирнов видел: врачи и санитарки торопились, выбивались из последних сил, чтобы успеть вынести всех раненых из корпусов.

Анна Николаевна в ужасе прижалась к плечу мужа и закрыла лицо руками. Немецкому офицеру ничего не стоит перейти от слов к делу. Он, не раздумывая, отдаст приказ «Шиссен!». Это было видно каждому. Он весьма охотно и сам примется стрелять в надоевших ему раненых, в недостаточно исполнительных, слишком медлительных, по его мнению, русских медиков. И те, и другие были теперь в его безграничной жестокой власти, в его руках — их жизнь и смерть. А у солдат, которыми он командовал, были настолько тупые и беспощадные рожи, что рассчитывать на проявление ими человеческих чувств — значило бы просто закрывать на все глаза.

- Пошли, Аннушка, чего смотреть? — Смирнов взял

жену за дрожащую руку, и они шагнули во двор.

-Господин офицер,— обратился к гитлеровцу Вениамин Александрович на немецком языке,— мне кажется, я имею дело с коллегой...

Фашист перестал барабанить по дверце машины и, сняв ногу со ступеньки автомобиля, окинул изучающим взглядом пожилого русского военного с петлицами врача и женщину.

— Ну вот, наконец-то,— скривил он губы в усмешке,— наконец-то я вижу человека и слышу человеческую речь! Нет, это все — не люди, это — не врачи! — он презрительно махнул рукой в сторону появившихся с носилками Протопопова и Беляева.— Невежды! Дикари! Им непонятна речь великой нации! Подумайте только: ни слова не знают по-немецки, животные!

У Вениамина Александровича чуть было не вырвалось: «Как? И тот высокий, с бородой? Да вы ошибаетесь!» Но он сдержался и хорошо сделал, не выдав Протопопова. Сколько раз сослужило им впоследствии «незнание» Сергеем Павловичем языка «великой

нации»!

— Я врач. Я приказал очистить это здание. Здесь будет наш полевой госпиталь,— продолжал гитлеровец.

Он вдруг насторожился:

— Слушайте, а вам что, собственно, нужно? Кто есть вы такой?

— Господин офицер,— с достоинством ответил Смирнов, смотря немцу прямо в глаза,— перед вами — начальник бывшего здесь госпиталя, самый старший здесь по воинскому званию русский военный врач. Смею надеяться, вам понятны мои чувства. Прошу разрешения взять на себя всю ответственность за моих пациентов,— Смирнов указал рукой на двор, уставленный носилками с ранеными,— и за моих подчиненных. Я обязуюсь достаточно быстро освободить вам корпуса и перебазироваться в другое помещение. Укажите только, куда именно.

— Куда? Наивный вопрос, коллега, — фашист зло засмеялся.— А мне до этого, какое дело? Куда хотите, туда и убирайтесь. Да побыстрее! Слышите, вы?!

— Все понятно, господин офицер, будет исполнено,— сказал Смирнов с таким видом, словно получил исчерпывающие указания и теперь не сомневается в том, что ему надлежит делать дальше.— Организую как ну» господин офицер.

— Хорошо,— согласился фашист, но добавил с угрозой: — Посмотрим, на что вы годитесь. Предупреждаю: без медвежьей русской неповоротливости! Даю вам часа. Ни минуты больше!

Он кликнул своих солдат, что-то коротко приказал им, усаживаясь рядом с шофером на мягкие кожаные подушки. Солдаты вслед за ним тесно расположились на заднем сиденье, и «мерседес-бенц», фыркнув, рванул и покатил за ворота.

К Смирновым подошли Протопопов, Гусев, Беляев и другие медики. Они вытирали потные лица, устало, прерывисто дышали. В нескольких словах Вениамин Александрович передал им ультиматум фашистского врача. За два часа можно убрать из корпусов всех раненых, -- добавил Смирнов. Но куда их нести, где найти крышу над головой, хотя бы самые минимальные больничные условия?

Тут кто-то подал спасительную мысль: отправить раненых в областную больницу — там еще остались тяжелобольные горожане и колхозники, при них врачи, медицинские сестры и санитарки. Места для всех должно хватить, и условия подходящие...

— Но ведь это на окраине города: даль-то какая! - сокрушенно промолвил Гусев.— И всех тащить придется на руках.

— А что поделаешь? Понесем. И не такая уж вовсе даль. Нам с вами просто кажется, Борис Николаевич, потому что отвыкли пешком ходить,— сказал Протопопов.

— Но ведь нас очень мало...

— А кто сказал, что много? Но нам придут на помощь, нам обязательно помогут!

— Станный оптимизм! От кого вы ждете помощи. Не от фашистов же. Они «помогут» так, что и переносить некого будет.

— Зачем — от фашистов? От русских людей. Во сколько! Да посмотрите же!..

И все увидели, что у раскрытых ворот толпятся люди. Многие женщины рыдали. Мужчины тоже не могли скрыть слез. В глазах подростков и детей ужас смешивался с любопытством.

Вениамин Александрович решительно шагнул к ним.

Когда через два часа — минута в минуту, с немецкой пунктуальностью — во двор госпиталя вкатил сверкающий черным лаком «мерседес-бенц», все уже было сделано.

Длинной вереницей плыли в то утро носилки с тяжелоранеными через весь город. Несли их русские военные медики и местные жители. Скорбное это было шествие — на волосок от гибели каждую минуту. Люди шли навстречу горю, унижению, смерти.

Не все в областной больнице были рады нежданному пополнению. Нашлись и далеко не гостеприимные люди, думавшие, прежде всего о себе. Еще неизвестно, как отнесутся немцы к тому, что теперь здесь не обычная гражданская больница, а самый настоящий

военный госпиталь. Кто знает, кого они сюда принесли. Вдруг коммунистов, комиссаров, евреев? Угодишь вместе с ними, черт знает куда! Ни за что, ни про что. Кому это надобно?

Такая перспектива отнюдь не улыбалась одному из терапевтов, который ню соседству с больницей имел уютный особнячок с фруктовым садом, беседкой и высоким забором.

— Вот что, уважаемый коллега, — остановил он Протопопова в больничном коридоре, — мне необходимо с вами поговорить. Конфиденциально. С глазу на глаз.

Тет-а-тет...

— Пожалуйста, только, покороче, — согласился Сергей Павлович.

— И я так полагаю: нам нечего тянуть и миндальничать, — живо подхватил терапевт. — Зачем вы сюда к нам пожаловали? Кто вас сюда звал? На каком основании вы...

— Прошу не задавать лишних вопросов, — перебил его Протопопов, сдвинув густые брови, — говорите прямо: что вам от меня угодно?

— И вы еще спрашиваете? Коммунисты проиграли войну. Вы, военные, бежите перед всеокрушающей силой Германии...

— Мы никуда не бежим, а остаемся здесь, — попытался Протопопов уйти от ненужного спора.

— А-а, бросьте, бросьте свою большевистскую дипломатию! Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь.

Война проиграна, Советы сокрушены. Зачем же вы ставите нас, гражданских лиц, не повинных в этом, под прямой удар? Вот что: убирайтесь-ка из больницы! Мы не намерены за вас отвечать. Ни мы, ни наши больные! Протопопов наклонился к своему беснующемуся собеседнику — тот был на голову ниже его ростом, — наклонился так, что почувствовал его дыхание на своем лице. Оно было ему отвратительно, но он стерпел.

— Послушайте-ка, вы, стратег, — сказал Сергей Павлович, — не слишком торопитесь с военными прогнозами. Вспомните лучше о том, что вы врач, если забыли все другое... Вспомните свой долг - исцелять. И выполняйте его. Не советую вам вторгаться в другие сферы. Во избежание опасных последствий в будущем, когда все вернется...

— Нет, не вернется! — вырвалось у терапевта. — Неужели вы слепы? Такую силу не остановить. Все кончено!

— Кто из нас слеп и кончено ли, предоставьте решать жизни. Повторяю вам мой совет — быть осторожным и не выслуживаться перед фашистами. Ради вашего же благополучия. Запомните это.

Сергей Павлович круто повернулся и широко зашагал прочь своей медлительной походкой, держа голову чуть набок.

Будущее показало, что «стратег» был осторожным человеком. Очутившись на совместном собрании медицинского персонала областной больницы и окружного госпиталя, почувствовав его атмосферу, он счел за благо прикусить язык и не пренебрегать советами Протопопова.

Гражданские и военные медики на этом собрании слились в одну семью и дали клятву быть верными Родине в любой обстановке.

Когда же дело дошло до выборов руководителей объединенного медицинского учреждения, которое отныне стало именоваться Русской больницей, эта семья продемонстрировала ясное понимание того, что больница сейчас не может быть просто местом, где только лечат, что она выходит на бой с врагами Родины. Больница становится госпиталем, подпольным советским госпиталем на оккупированной врагом территории. И потому, во главе ее должны стать военные люди, готовые не только возглавить бой, но и выиграть его.

Главным врачом Русской больницы выбрали Смирнова, его заместителем — Беляева.

Сергей Павлович, Анатолий Алексеевич Беляев и Борис Николаевич поселились тут же, в одном из корпусов, в подвальчике со сводчатым потолком. Подвальчик этот, всем видом своим напоминавший командный пункт вблизи переднего края, стал теперь как бы

штабом советского воинского подразделения в тылу врага.

Начали с того, что поспешили до первого визита немцев «перепутать» раненых и больных. Многим изменили истории болезни, уничтожили прежние и составили новые, вымышленные.

Областная больница переполнилась «гражданскими» пациентами, а среди военных, которых стало теперь ничтожное меньшинство, никому бы не удалось отыскать офицера, а тем более — политработника армии.

Наступила зима.

Одни пациенты выздоравливали и выписывались, а другие, перед болезнью или ранами которых медицина оказывалась бессильной, умирали. Оккупантов вполне устраивала «чрезмерная» смертность русских больных и то, что мертвецов быстро хоронили, отчитываясь за каждого умершего перед немецкой администрацией. Фашистам до поры до времени и в голову не приходило, что в действительности умирал один, а «хоронили» нескольких. И воины Советской Армии, одетые в гражданское платье, уходили за ворота больницы — кто к линии фронта, кто — в брянские леса к партизанам, а кто — в партийное подполье. Уходили, прощались, обещая встретиться, обязательно встретиться в освобожденном Орле. И были, были потом такие встречи.

В тот год лютовали жестокие морозы. В неотапливаемых палатах вода покрывалась льдинками. Раненые и больные лежали одетые, укутанные, кто во что. Медицинский персонал только в операционной снимал с себя верхнюю одежду.

Страшно было даже подумать, каково человеку там — за стенами, за обледенелыми окошками. Хорошо, если он здоров, если у него хватит сил добраться до жилья в такую непогоду.

И вдруг — это случилось в ночь на шестнадцатое декабря сорок первого года — в стужу, на трескучий мороз пришлось выбираться всем — и раненым, и больным.

Стрелки часов сошлись на двенадцати, когда в больничный городок внезапно ворвались фашисты.

Ими командовал поджарый, длинный обер-лейтенант. Он был в каске и шерстяном подшлемнике. Заиндевевший подшлемник закрывал уши, шею, лоб, подбородок. Только щеки в бурых пятнах и такой же обмороженный нос выглядывали наружу. Обер был до иступления зол на все на свете и, в первую очередь, на эту проклятую страну, где ему приходится коченеть, и на людей, которые ее населяют и которых он рад бы всех, всех до единого, от старца и до младенца, поголовно истребить. Какого черта им дают возможность занимать дома, валяться на кроватях, пользоваться теплом, когда он и его солдаты вынуждены превращаться в сосульки, утопать в снегу, подставлять грудь под пули этих русских! Нет, пусть сами дохнут на морозе, в снегу, под пулями.

Вышедшему навстречу Смирнову обер-лейтенант не дал и рта открыть. Ткнул в грудь главному врачу свой парабеллум и, не отводя оружия, готовый — сделай Смирнов одно лишь неосторожное движение, скажи не то слово — нажать спусковой крючок, заорал:

— Ты не есть врач, ты есть руссишь швайн! Слушай и выполняй!..

Он приказал освободить помещение больничных корпусов в течение тридцати минут и пригрозил: в случае невыполнения приказа будут на месте расстреляны все больные, а заодно с ними и три врача, которые попадутся первыми немцам на глаза.

Узнав об ультиматуме гитлеровцев, больные сами, не дожидаясь помощи, стали выбираться на улицу.

Ползли, распластавшись по полу. Передвигались на забинтованных культяпках. Молоденький раненый, котором незадолго до этого пришлось ампутировать обе руки и ноги, набрался сил и, оттолкнувшись от стены, упал с койки. Ударяясь о выступы стен, ножки коек, углы шкафов, он докатился до наружной двери и перевалил через порог на обледенелое крыльцо. Там его и подобрали. Мертвого: сердце не выдержало страшного напряжения.

Сестры, няни, врачи — тут были Смирнов, Протопопов, Гусев и Беляев — выносили

раненых на руках, оставляли их прямо на снегу, потому что нужно было торопиться в помещение за другими: другого выхода не было. Многие погибли потом от осложнений, вызванных жестокой простудой в ту ночь.

А гитлеровцы носились по коридорам и палатам, размахивая пистолетами. От их брани, угроз, от пинков нигде нельзя было укрыться.

Медицинская сестра Дарья Михайловна Лифинова вбежала в одну из палат и заметалась, не зная, что делать.

Ей было уже почти пятьдесят лет. Раненые и больные привыкли видеть ее всегда невозмутимо спокойной, уравновешенной. Молоденькие раненые называли Дарью Михайловну не сестрицей, а мамашей. Она, и в самом деле была им как родная мать. Ее забот, ласки, душевного тепла, а там, где нужно было, и строгости, хватало на них на всех. Никто лучше ее не мог успокоить сердечным разговором человека, мечущегося от боли и тоски. Всегда вовремя зайдет она в палату, направится прямо к нему, чтобы ловко и бережно поправить подушку, подать и убрать, что нужно. Вместе с ним она не сомкнет глаз всю ночь и лучшим из лекарств будут для него ее простые слова о том, что недолго еще осталось терпеть фашистское изуверство: вот-вот пробьет час, и люди снова станут людьми; так обязательно будет, нужно только не пасть духом, не утратить веры!

И вот Дарья Михайловна вбежала в палату, чего никогда еще с ней не случалось. Бледный свет морозной ночи, с трудом пробивающийся сквозь обледеневшее окно, лег на ее встревоженное лицо.

— Деточки мои, родненькие вы мои! Немцы пришли, пощады не дают. Кто как может — скорее ползите во двор, — взмолилась она, не замечая в темноте, что тот, кто был в состоянии, покинул палату еще до появления сестры. На кроватях и на полу лежали только те, кто уже был не способен двигаться. Лифинова наткнулась на опрокинутый кем-то впопыхах шкафчик с обеденной «посудой». Та дребезжала у нее под ногами — банки и баночки из-под консервов, всякого рода мятые и перемятые железные коробки; вот что служило здесь теперь и тарелкой, и чашкой, и стаканом. Настоящую посуду оккупанты забрали, как и белье, как и продовольствие,

— Дуся, помоги мне! — крикнула Дарья Михайловна. В тревожном нетерпении она оглянулась в сторону невидимой в темноте двери, и, не дожидаясь санитарки, бросилась к одному из раненых. У того разрывными пулями были прострелены обе ноги и живот. Его трясла лихорадка, без посторонней помощи он не мог даже повернуться на другой бок.

— Сейчас, сейчас, сыночек! Сейчас мы тебя унесем! — склонилась над ним Дарья Михайловна. — Вот только санитарка с носилками войдет... Ах, господи, да где же ты, Дуся?!

Но вместо санитарки в палату ввалился немец. Он был в распахнутой шинели, разгоряченный и взвинченный. В одной руке у фашиста — фонарик: острый луч света заметался по комнате, обшарил палату, добрался до койки, на которой неподвижно лежал человек, чуть-чуть задержался на нем и, скакнув на Лифинову, словно вонзился ей в лицо. В другой руке немец держал револьвер.

— Почему пленный не встал?! — гаркнул хриплым простуженным голосом фашист, погрозив Дарье Михайловне револьвером.

Лифинова еще ничего не успела ему объяснить, а он уже поднял ногу, размахнулся и, крикнув, ударил раненого тупым носком кованого сапога в бок, перевязанный окровавленными бинтами.

— Вставай, рус, вставай!..

Фашист принялся пинать ногой почти полумертвого, потерявшего сознание человека:

— Вставай, вставай, вставай!..

— Что же вы делаете?! Побойтесь бога, господин офицер! — в мольбе протянула к нему руки Лифинова. — Пощадите его, он не встанет: это же невозможно!

- Как ты сказал, скотина? — круто повернулся фашист к женщине. — «Не-воз-мож-но»? А что есть мой приказ?! Сейчас я и тебя проучу. — Он поднял револьвер и приставил его к виску медицинской сестры. — Я буду стрелять тебя, как паршивый собака, если он не

выполнит мой приказ.

Дарья Михайловна потом много раз вспоминала, как прощалась тогда с жизнью, понимая: раненому не подняться.

И тут нежданно-негаданно пришло спасение.

Гитлеровец на какое-то мгновение отвел оружие, повернулся к другому больному, тоже лежавшему неподвижно, но не успел осветить его: комната погрузилась в темноту.

Размышлять было некогда. Лифинова рванулась к двери, выбежала в коридор, в потемках чуть не сшибла кого-то, торопливо шедшего навстречу. За спиной снова и снова возникало топанье ног гитлеровца. Почему он не стреляет? Хочет догнать? Или в темноте не надеется попасть? Когда фашист отстал, она ткнулась в первую попавшуюся дверь, щелкнула задвижкой, дважды повернула ключ в замке. Пронесло... Только теперь, в изнеможении опустившись на пол и слыша, как цокают собственные зубы, поняла она, что ушла от смерти.

Так прошло несколько минут.

«Что же это я сижу? — очнулась Дарья Михайловна. — Как можно?»

Она вскочила, бросилась к двери, снова дважды повернула ключ и тронула задвижку.

«Выгляну, а он как раз тут! Убьет, проклятый»...

Дверь оказалась невысказанно тяжелой и предательски скрипучей, но Лифинова приоткрыла ее, чувствуя, что руки перестали дрожать, и все тело напряглось в решимости действовать, не поддаться страху.

«Пусть поищет, изверг окаянный, а я пока за раненым сбегаю. Сама как-нибудь унесу его».

В коридоре было темно и тихо. Глухо доносились сюда отдаленные голоса и шаги. Судя по всему, немцы были заняты сейчас в другом крыле корпуса. Раненый все так же пластом лежал на койке. Лифинова, как ребенка, подняла его и прижала к груди. Тяжело дыша, он обвил ее шею худыми горячими руками. Она вынесла его во двор, передала двум санитаркам, которые встретили ее с пустыми носилками, а сама повернула обрат, но, в палаты.

Дарья Михайловна, пробираясь на ощупь вдоль стены вышла на лестничную площадку первого этажа, которая вела во двор. Теперь она осторожно свернет направо, также на ощупь обойдет часть здания глухим коридором, ведущим в подсобные помещения и аптечный склад, а затем через парадный вестибюль вновь поднимется на второй этаж, где, может быть, в палатах еще остались раненые.

Но едва Лифинова, затаив дыхание, прижалась к холодному выступу стены, она услышала крадущиеся шаги. Она поняла: в коридоре рядом — двое. Шагали они тяжело, должно быть, не с пустыми руками. Но вот немного позади шаркает еще одна пара ног. Вот поравнялись с Лифиновой и остановились. Слышно было: груз опустили на пол. Зашептались:

— Теперь уже недалеко. Не волнуйтесь. У меня есть ключ от запасной двери... Ну, взяли!

— Берите с краю... Еще немножечко на себя... Как плохо в темноте, Мария Андриановна. Хоть бы спичку зажечь, что ли...

— Не дай бог, Павлиночка! Наше счастье, что так темно... Ну, взяли, девочки!

— Пойдите, пойдите минутку! — раздался третий голос. — Зачем все это, Мария Андриановна? Ну, зачем в петлю лезем?

— Тише ты, Нюся, ради бога, тише,— все так же шепотом строго ответила Зайцева.— Я тебя не понимаю...

— Тут и понимать-то нечего,— еще более возбужденно зашептала Нюся.— Мы все просто с ума посходили. Куда это нам — мыло, марля, бинты, йод? Ведь больницы больше нет. Ничего нет. Ничего! И не будет! Всеу конец. Для чего мы столько этого добра тащим? Для кого?

— Успокойся, Нюся, успокойся. Неправда, что ничего нет, и не будет. Сейчас не

время тебе объяснять. Мы обязаны все это унести отсюда. Это наш долг. Для кого? Для красноармейцев. Мы будем их лечить.

Лифинова отделилась от стены.

— Кто здесь? Да кто это?! — шарахнулись от нее в темноте.

— Не пугайтесь. Это я. Давайте подсоблю.

- Ох, и напугали же вы нас, Дарья Михайловна, — голос Лифиновой и шумно перевела дыхание Зайцева. — Вот хорошо, вот кстати, — заторопилась она. — В самый раз. Ради бога, помогите Нюсе. Ей тяжело.

Лифинова долго всматривалась в темноту, пока, наконец, не различила контуры фигур Зайцевой, Чикиной и Нюси, склонившихся над какими-то тюками.

Около года назад Марию Андриановну Зайцеву назначили заведующей аптекой областной больницы, где она работала ассистентом еще с 1930 года.

Павла Чикина была на десять лет моложе. В тридцать четвертом году она, как и Зайцева, окончила фармацевтический техникум. Только Чикина училась очно, а Мария Андриановна — без отрыва от производства. Чикина после учебы пришла в больницу на должность рецептара.

Зайцева и Чикина крепко подружились. Война, сложная обстановка, в которую они попали, еще больше сблизили их. Эти женщины служили примером мужества, верности долгу для всех работников аптеки.

— Помогите Нюсе, не дайте ей совсем раскиснуть, — шепнула Зайцева Лифиновой и вместе с Чикиной легко подхватила тюк.

Через запасной выход они пронесли свою драгоценную ношу в дальний, пустынный угол двора, а оттуда, задворками, — в инфекционный бардак.

Всю ночь, до самого рассвета, эти женщины выносили до аптечного склада больницы тюки и ящики. Каждый такой рейс мог стоить им жизни. Но об этом они не думали. Все мысли были сосредоточены на другом: только бы услать сласти медикаменты, пока не нагрянули немцы.

Свой бесценный груз они спрятали в подвалах и на чердаках инфекционного отделения.

Впоследствии Вениамин Александрович Смирнов, лично и притом весьма бережливо распоряжавшийся каждым метром марли, клочком бинта, каплей йода, крохотным кусочком мыла, всегда с огромной благодарностью вспоминал отважные рейсы Зайцевой, Лифиновой и Чикиной между аптечным складом и инфекционными бараками декабрьской ночью сорок первого года.

Как ни беспросветна и трагична была та декабрьская ночь для персонала и пациентов Русской больницы, но все же они разглядели в ней луч надежды. В город все прибывали и прибывали фашисты, собиравшиеся совсем недавно встречать новый год в «сломленной русской столице». Возвращались они оттуда, со стороны Москвы, ранеными и обмороженными. Москва, где Гитлер уже назначил день и час парада своих войск на Красной площади, у седой Кремлевской стены, оказалась неприступной. «Что, крепко дала по зубам наша столица? Погодите: то ли еще будет!» — думали раненые.

Этот луч, ворвавшийся в адскую ночь, прибавил сил медикам Русской больницы, помог им не дрогнуть, не растеряться, не опустить рук, а сделать все, выходящее даже за пределы возможного, чтобы бой, на который они решились выйти, не проиграть уже в самом начале. Корпус номер три бывшего окружного госпиталя представлял собой теперь насквозь замороженное, абсолютно не пригодное для приема больных помещение. Стекла в окнах были выбиты, двери сорваны, водопровод и канализация не действовали.

Часть советских военнопленных из бывшей областной больницы переправили в этот корпус, а остальные разместили в бараках инфекционного отделения.

Немцы были сверх всякой меры чувствительны к любому месту, грозившему им «заразой». Это обстоятельство не прошло мимо внимания русских медиков. В высоком деревянном заборе, ограждавшем больничную территорию, были сделаны предостерегающие надписи, в центре скалился череп на скрещенных костях — эмблема

смертельной опасности, а наискосок — слова:

«Typhus! Infektion!» («Тиф! Инфекция!») Это были замки от непрошенных гостей.

Раненных в голову, тяжело контуженных и нервнобольных отправили в психиатрическую лечебницу. Она находилась за городом, в деревне Кишкинке.

Гусев остался в инфекционных бараках. Беляев как врач-психиатр отправился в Кишкинку. Третий корпус бывшего госпиталя взял на себя Протопопов.

Тут можно было с грехом пополам разместить лишь двести пятьдесят человек, а на попечении Сергея Павловича оказались все девятьсот. До отказа были забиты вестибюль, коридоры и лестничные площадки.

В помещение врвался ледяной холод, падал снег, от порывов ветра гасли фитили коптилок, чадающие на касторовом масле: керосина нигде достать не удалось. Люди лежали на голом полу в верхней одежде, жались друг к другу не только из-за тесноты, а чтобы как-то согреться.

И все же Русская больница жила. И здесь, у Протопопова. И там, в Кишкинке, где раненые находились в одних палатах с душевнобольными. И в инфекционном бараке, который получил теперь название «лазарет».

Сюда, в лазарет Гусева, и попал Александр Гомзиков.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Саксокец Фриц Ширман — начальник разведки фашистов, расквартированной в Орле, — безуспешно пытался допросить Гомзикова еще в тюрьме, которую оккупанты превратили в лагерь русских военнопленных. Это был прифронтовой ад. Советские воины поступали сюда прямо из боя.

Задерживались они здесь ненадолго. Уходили из Орла на запад переполненные пленными поезда. Их прозвали эшелонами смерти, потому что далеко не всякий попадал живым в тыловую тюрьму или концентрационный лагерь, расположенный в глубине оккупированной территории. Эшелоны долгими часами, иной раз целыми сутками, томились на промежуточных станциях. В наглухо забитых товарных вагонах пленные стояли один к одному впритирку, не имея возможности даже присесть, мертвые продолжали стоять среди живых, которые часто теряли рассудок от ран, голода, жажды, отсутствия воздуха. Вот так, стоя, бредили, сыпнотифозные, истекали кровью раненые...

Официально считалось, что из орловского сборного лагеря немцы отправляют только здоровых людей, а тем, кто ранен или болен, дают возможность лечиться в Русской больнице.

И вдруг в феврале 1942 года к Протопопову нагрянула транспортная команда. Раненых и больных фашисты, ни слова не говоря, стаскивали с коек, швыряли на носилки, потом с носилок сбрасывали в крытые брезентом грузовые автомашины. На станции также быстро шла перегрузка из автофургонов в грязные и неоттапливаемые товарные вагоны.

Сергей Павлович пытался протестовать, просить, уговаривать. Ничто не помотало. Впрочем, немецкие офицеры заверили его, что все будет хорошо, он зря беспокоится. Немецкое командование отдает себе отчет, что имеет дело с контингентом, нуждающимся в медицинском обслуживании и в пути. Вместе с эвакуируемыми пленными будет отправлен русский врач.

Из их заверений Сергей Павлович сделал вывод: на мученическую смерть обрекается кто-то из врачей Русской больницы. Но кто? На ком остановит свой выбор палачи?

Выбор пал на Анатолия Станиславовича Минаковского. Он сразу понял, что его ждет, но не дрогнул, как только мог, поддерживал в людях веру: выживем, товарищи, выстоим! На зло врагам не падем духом!

Прощаясь с Минаковским, Протопопов заглянул ему в глаза. Они были сухими и строгими. Сердце Сергея Павловича сжалось. Эти глаза он запомнил на всю жизнь.

Короткий путь от Орла до Бобруйска эшелон проделал за две недели. Когда он достиг

места назначения, и вагоны, наконец, были отворены, в живых там осталось самое большое по пять—шесть человек. А в Орле набили в каждую наглухо закупоренную обледенелую коробку по сорок — пятьдесят узников. Люди умирали от болезней и ран, холода, голода, жажды.

Анатолий Станиславович Минаковский скончался на руках одного из раненых — единственного, который остался живым в переполненном вагоне. Конвоирам было на это наплевать.

Вагон, где несколько дней находилось тело врача, не открывали до конца пути.

* * *

Фриц Ширман проявлял повышенный интерес к попавшим в Орловскую тюрьму летчикам советской авиации, которых зенитчики и истребители сбивали над Орлом. Это по его, Ширмана, строжайшему предписанию пленных старались не убивать: только ранили. Начальник разведки лично допрашивал пилотов, штурманов, бортмехаников, стрелков-радистов. В его планы входило выудить сведения о советских авиационных базах, их оснащении, средствах противовоздушной обороны, то есть получить данные, без которых нельзя хорошо подготовить ответные удары по этим базам. Ширман стремился допросить русских летчиков, как он любил выражаться, свеженькими, только что взятыми; достаточно промешкать неделю — другую, как допрос уже ни к чему: показания пленного не представят никакой ценности, потому что безнадежно устареют.

Гомзикова принесли в кабинет начальника разведки, расположенный тут же, в тюрьме. Носилки поставили! перед письменным столом, за которым уселись Ширман и переводчик. Пленный еще сегодня был в Москве. От него можно было получить весьма ценные сведения. Но допрос не получился: летчик приходил в сознание лишь на мгновения, все вопросы, обращенные к нему, падали в пустоту.

Ширмая в досаде вскочил и, полуоткрыв дверь, крикнул:

— Фельдфебеля Мильцера ко мне! На пороге вырос фельдфебель.

— Слушаю, герр обер-лейтенант!

— Распорядитесь, пусть забирают в свою больницу, — кивнул начальник разведки на пленного.— И поскорее. Пусть врачи сделают все до последней возможности. Иначе будут иметь дело со мной. Сопровождать пленного назначаю вас.

— Слушаю, герр - обер-лейтенант! — фельдфебель вздернул подбородок.

— Вот еще что, Мильцер,— добавил Ширман.— Надеюсь, вы сумеете там им все объяснить? Скажите, что время не терпит. Я приеду для допроса лично, как только он будет способен отвечать.

— Уж я потороплю эту русскую шваль! — фельдфебель самодовольно и заискивающе смотрел на офицера.— Они у меня запляшут, герр обер-лейтенант.

— Действуйте, но помните: пленный должен выжить, Я с вас за это строго спрошу. Это очень важный пленный.

— Слушаюсь! Разрешите идти? — отчеканил фельдфебель уже без прежнего восторга.

— Это есть наш пленный, — сказал Гусеву фельдфебель Мильцер, когда Гомзикова принесли, и носилки с ним поставили в небольшом, кое-как приспособленном под операционную, отсеке инфекционного барака.— Он должен быть живой. Обязательно. Вы за это будете отвечать своей головой! Поторапливайтесь, мы не станем ждать!

Не дослушав ответа, Мильцер решительной походкой вышел из операционной. Гусев склонился над раненым,

— Опять летчик! Они хотят, чтобы мы его спасли для допроса.

Раненый находился в состоянии тяжелейшего травматического шока, на грани жизни и смерти.

Несколько часов продолжалась сложная операция, Фельдфебель то и дело приотворял дверь, жестами объясняя и грозя; поторапливайтесь, поторапливайтесь, время не ждет.

Наконец он потерял терпение, рывком распахнул дверь:

— Быстро нужно. Очень быстро!

Борис Николаевич продолжал свое дело, слоено не слышал. Гитлеровца это вывело из себя. Он, ступив через порог, подошел к операционному столу и, размахивая кулаками, закричал:

— Скорей, скорей, скорей!

Хирург круто повернулся к фашисту. Широко расставив руки в резиновых перчатках, сверкая скальпелем в правой руке, стал грудью оттеснять Мильцера за дверь.

— Господин офицер,— говорил при этом Борис Николаевич,— мы выполняем приказ. Вы сами предупредили: за исход операции я отвечаю головой. Так сделайте же милость, не мешайте нам. Когда закончу, доложу. А теперь вам следует выйти из кабинета. Иначе я прекращаю операцию. В таком случае пленный, несомненно, умрет. Надеюсь, вы этого не желаете?

Фельдфебель не забыл предупреждения обер-лейтенанта и счел за благо ретироваться. Больше он в операционной не показывался.

Длительная операция была, наконец, закончена.

— Парень будет жить, — уверенно сказал своим ассистентам Борис Николаевич. — Мы его поставим на ноги.

Но Гомзиков оставался в беспмятстве. И хирург все не разрешал уносить его в палату. Не снимая повязки, Борис Николаевич ходил из угла в угол. Остановится возле Гомзикова, постоит мгновение и снова ходит и ходит в глубоком раздумье. Ассистенты, сестры и няни недоуменно и тревожно переглядывались.

Прошло еще несколько томительных минут. Больной открыл, наконец, глаза.

— Ну, вот и отлично,— облегченно вздохнув, Гусев наклонился к нему:

— Не беспокойся, голубчик,— сказал он ласково.— Мы здесь все свои, русские.— Он улыбнулся и еще ближе наклонился к Гомзикову.— Не бойся, назови свою фамилию. Ты в состоянии это сделать?..

С большим трудом летчик произнес:

— Гомзиков. Александр... Гомзиков.

— Ну, вот и отлично. Спасибо, голубчик. Ты меня хорошо слышишь? Понимаешь, что я говорю?

Гомзиков подтвердил взглядом: да, он все слышит и понимает, да, он верит: вокруг него свои, русские люди, ему их нечего опасаться.

Борис Николаевич сказал:

— Теперь слушай меня очень внимательно. Ты пять суток будешь спать. Целых пять суток. А потом, когда проснешься, никому ни на какие вопросы отвечать не должен. Только мне. Понимаешь?

Раненый снова подтвердил взглядом, что он понял и согласен.

Гомзикова перенесли в палату, уложили на освобожденную для него койку в углу и, как опасно больного, отгородили ширмой, сделанной из простыней.

И тогда появился фельдфебель. За Мильцером попал солдат с карабином на ремне через плечо.

Вскоре пришел переводчик. Он спросил Бориса Николаевича, каково самочувствие раненого и можно ли, наконец, приступить к допросу?

Гусев отрицательно покачал головой:

— Больной не приходил в сознание и, очевидно, придет не скоро. У него весьма тяжелое ранение головы, не исключено повреждение мозга. О допросе пока не может быть и речи.

Переводчик помрачнел:

- Сколько продлится ваше «пока»?

- Покажет самочувствие больного, — последовал твердый ответ.

Пять суток, днем и ночью, у занавески, за которой лежал, не просыпаясь, Александр

Гомзиков, дежурили немецкие солдаты.

Но зорко стояли на посту и русские люди. Не отходила от больного палатная сестра Вера Алешина. Несколько раз в день приходил Гусев и сам делал своему пациенту уколы. Когда утром и вечером появлялся нетерпеливый и озлобленный фельдфебель, то он каждый раз получал возможность своими глазами убедиться: пленный русский летчик в сознание не приходил, время начинать допрос еще не наступило.

Однажды Вера торопливее обычного вышла из-за ширмы и заспешила в кабинет Гусева. Вскоре она возвратилась, а минут через десять появился и Борис Николаевич. Он прошел к Гомзикову. Летчик уже не спал. Широко открытыми глазами он смотрел на доктора. Тот кивнул сестре в сторону солдата. Вера стала у занавески, готовая преградить ему путь. Борис Николаевич склонился к самому уху Гомзикова.

— Дружок, Саша, ты находишься у своих,— оказал хирург тихо, но внятно.— Тебя раненого взяли в плен. Я сказал немцам, что ты в тяжелом состоянии и допрос проводить нельзя. Но дело вот какое: дальше держать тебя без сознания — значит поставить под угрозу твою жизнь. Ты больше не будешь спать непрерывно. А когда од и это заметят, то обязательно начнут приставать к тебе с вопросами. Вот тебе мой совет: не отвечай — и все! А будут настаивать — «теряй» сознание.

Много раз фашистские военные разведчики пытались допросить Гомзикова, но все их попытки, не достигли цели: когда нужно было, раненый «терял» сознание и, поскольку он был действительно изможден и обескровлен, это выглядело вполне естественным.

Время шло, а оно работало на Гомзикова. Фашисты вдруг спохватились: русский летчик, с которым она столько времени канителется, вовсе не «свеженький»; показания, которые, в конце концов он даст, уже устарели. Есть ли смысл их добиваться?

И они оставили его в покое.

Фриц Ширман, махнув на Гомзикова рукой, переключился на других пленных. Он занимался ими более настойчиво, теперь уже не перепоручая дело фельдфебелю.

Крепко досталось Мильцеру от Ширмааа за этого летчика, и фельдфебель долго не мог простить русским: это по их вине обер-лейтенант остался недоволен. Мильцер сильно сомневался, все ли тут было чисто. Не обвел ли русский хирург немецкую разведку вокруг пальца? Очень не по душе пришелся он ему, независимого из себя корчит, профессор. Забыл, кто он в самом деле.

Выбрав как-то минутку, когда у Ширмана было хорошее настроение и он казался расположенным к Мильцеру, фельдфебель поделился с обер-лейтенантом своими подозрениями, касающимися этого советского летчика, а также русского хирурга, осмелившегося выставить его, арийца, солдата непобедимой армии, из операционной. Не думает ли герр обер-лейтенант, что нужно бы этого красного врача водворить в подходящее местечко да и летчика возвратить в лагерь?

- А разве он еще не отдал богу душу? — Ширман спросил таким безразличным тоном, что фельдфебель понял: ему не до и его, ему наплевать на того раненого советского летчика.

— Что вы, герр обер-лейтенант! — воскликнул Мильцер, стараясь внушить Ширману, что заговорил он не о какой-то ерунде.— Красный летчик выздоравливает. Я лично проверил. Скоро ходить начнет. Русские сволочи не зря вертятся вокруг него. Они своего добьются...

— Вот ведь какой этот русский хирург,— вдруг, не скрывая восхищения, заговорил Ширман.— А ты заладил: и операционная у него паршивая, и сам он — дерьмо... Впрочем, что правда, то правда: действительно, ни операционной у него нет, ни настоящего хирургического инструмента, ни лекарств. А ведь чудеса творит! Нет уж, знаешь что, оставь-ка ты его в покое. Нам он нужен. И другие русские врачи тоже. Никто кроме них не станет спасать от смерти пленных, которые без их помощи подохнут, прежде чем мы чего-нибудь от них добьемся.

— А если, герр обер-лейтенант, он водит нас за нос?

— Ого, я вижу — ты здорово на них зол! Говоришь, он уже поправляется?... Я это

учту. А если этот красный хирург вздумает злоупотреблять нашим доверием, то — будь спокоен — он за это ответит.

Фельдфебель говорил обер-лейтенанту правду: здоровье Гомзикова улучшилось. Вот уже и раны его затянулись настолько, что он был в состоянии встать с постели. Но Гусев предвидел: как раз этого-то делать нельзя. Александр должен оставаться тяжелобольным. Но просто так, без оснований, держать его на постельном режиме означало заведомо поставить и его, и себя под подозрение. Немцы не настолько доверчивы и глупы, чтобы от их внимания ускользнуло выздоровление Гомзикова.

И вот Гомзиков снова на операционном столе. Летчику удаляют аппендикс. Оперирует Протопопов. Гомзиков мог и до ста лет прожить с этим аппендиксом, и не подозревая, есть ли он у него вообще. Гусев и Протопопов это отлично знали. Но операция нужна была совсем не из медицинских соображений.

Однако и ее было недостаточно, чтобы осуществить задуманное. И Сергей Павлович пошел еще дальше — он так «врачевал» рану, что она не заживала.

Такой способ борьбы за спасение человека от лагеря смерти применялся довольно широко. Пользовались им и Гусев, и Протопопов настолько искусно, что немцы ничего подозрительного заметить не смогли.

Впрочем, немецкой разведке хватало других беспокойств. Военное счастье перестало улыбаться гитлеровскому райху. Русский колосс оказался отнюдь не на глиняных ногах. Он наносил все новые и все более сокрушительные ответные удары. Раненые фашисты все прибывали и прибывали в Орел. Их едва успевали отправлять в тыл. Советская авиация тем временем набирала силы. И не было возможности преградить ей путь, даже самым яростным огнем зениток. Ширман судил об этом не только по паническим рассказам тех, кому довелось почувствовать удары красных звездных птиц непосредственно на передовой. Советские «летающие смерти» — так прозвали немцы бронированные штурмовики «Илы» — чаще и чаще появлялись теперь над городом. Его улицы днем и ночью оглашались воем сирен воздушной тревоги, грохотом артиллерии, которая зря тратила снаряды: броня «Илов» была к ним бесчувственна.

Командование все настойчивее требовало от Ширмана как можно больше сведений о русских авиационных базах. Командование теряло к нему расположение: он плохо «выжимал» захваченных в плен советских летчиков. Научится ли, в конце концов, разведка в Орле допрашивать этих русских?! Ведь ради таких допросов, черт побери, приходится красных пилотов брать с чрезвычайной осторожностью, даже рисковать жизнью немецких солдат, которым достаточно дел и на фронте.

«Нечего сказать — осторожность: доставляют мне изрешеченных, возись с ними, как знаешь,— возмутился Ширман, когда в камеру тюрьмы привезли только что схваченного советского пилота. Его истребитель был настигнут и окружен «мессершмиттами», они сожгли его в воздухе. — Нет того, чтобы взять невредимым. Дайте ему выброситься на парашюте, достичь земли, а потом — хватайте себе на здоровье. Где уж там! Рады палить в беззащитную мишень. Вот и добились: принесли кусок мяса. Что теперь с ним делать?».

Константин Сеницын лежал перед начальником военной разведки в изодранном комбинезоне, залитом кровью, не приходя в сознание.

«А вдруг сейчас умрет?— оценил его состояние обер-дейтенант. — Пусть себе подышает, но только сначала мы выжмем из него все, что можно».

Вызванный к Ширману врач лагеря военнопленных Лука Трофимович Гура развел руками:

— Помрет, не иначе. Разве что отправить в лазарет Протопопова. Может быть, там его спасут.

Ширман последовал совету Гуры, заслужившему его доверие исполнительностью, послушанием и тем, что глупых советов никогда не давал. Обер-лейтенант не догадывался, что Гура — это и есть то тщательно законспирированное звено, посредством которого лагерь связан с Русской больницей.

Не догадывался Ширман и о другом, что могло в корне изменить отношение его к Луке Трофимовичу. В тяжелых оборонительных боях под Брянском осенью сорок первого года Гура был ранен и пленен. Его товарищи по оружию, попавшие в плен с ним вместе, скрыли от фашистов, что он дивизионный врач, кадровый военный и коммунист. Выдавая себя за медика, далекого от политики, призванного в армию во время войны и на весьма скромный пост, Лука Трофимович старался показать себя в глазах оккупантов пленным, который смирился и хорошо понимает, на чьей стороне сила, а тем временем делал все возможное, чтобы препятствия и опасности на сложном и рискованном пути раненых из казематов тюрьмы в палаты больницы были обойдены.

— Пусть забирают, чего с ним канителиться! — отвернулся от Синицына Ширман. Гура поспешил выполнить приказ.

* * *

Русская больница еще не раз после декабрьской морозной ночи 1941 года оказывалась на улице. В конце февраля сорок второго немецкое командование заставило Протопопова освободить корпус номер три бывшего окружного госпиталя. Пришлось переводить пациентов в психиатрическую больницу. Однако уже в мае того же года последовал новый приказ: покинуть и это здание. Его облюбовала для себя фашистская воинская часть, как впоследствии выяснилось — отряд карателей, готовящихся «доблестно» сразиться со стариками, женщинами и детьми в партизанских деревнях на Орловщине. Больных вышвырнули на улицу, больницу превратили в казарму убийц.

Впрочем, операция по «очистке» психиатрической больницы началась сразу же после того, как оккупанты «смилоствились» и предоставили ее Протопопову.

На дверцах «оппель-капитана», который подкатил к больничному крыльцу во главе нескольких грузовиков, крытых зеленым брезентом, стояли эмблемы санитарной службы. Красные кресты пестрели и на бортах грузовиков.

Из «оппеля» навстречу Беляеву, поспешившему встретить непрощенных гостей, поднялся папахивающий духами розовощекий субъект в штатском костюме. С учтивой улыбкой протянув Анатолию Алексеевичу руку, он представился и добавил, что его профессия, его роль в побежденной России — это лечить людей, исключительно лечить. Обо всем прочем — врач поморщился, выказывая отвращение, — пусть заботятся военные люди, а не медики. Чувствуя, что его декларация не подействовала на Беляева и что тот продолжает с нескрываемым недоверием оглядывать въехавшие во двор грузовики, немец добавил, что его коллега не должен беспокоиться: эти автомашины и эти солдаты, и он, немецкий врач, специально приехавший сюда, есть гуманный шаг германского командования.

— Это помощь. Великодушная помощь вам. Вы должны за нее благодарить.

— Помощь мне? — горько усмехнулся Беляев. Теперь он не сомневался, что здоровье и жизнь русских людей их интересуют меньше всего.

Всех душевнобольных, заявил немец, решено отправить в другое, более подходящее для них место. Оно подготовлено невядалеке от Орла. Там им будет лучше, чем здесь, вместе с терапевтическими и хирургическими больными. Ну, а последним станет удобнее, когда сумасшедших от них уберут.

Но нет, не мог поверить Беляев в гуманность оккупантов: слишком хорошо изучил он их волчьи повадки. С чего бы вдруг стали они такими заботливыми? Ни он, врач-психиатр, ни Протопопов не просили об этом немецкое командование. Тогда в чем же дело?

Догадаться было нетрудно. Сколько уже раз в русских городах, в деревнях фашисты «очищали» больницы одним и тем же способом — поголовно расстреливая тяжелобольных.

Но вот что странно: фашистский врач и его помощники, пройдя в больницу, занялись тщательным подсчетом больных и всего того, что будет им необходимо на новом месте. В особую машину укладывали белье, халаты, одеяла, простыни, подушки. Немцы следили, чтобы грузилось самое лучшее, по возможности, еще не бывшее в употреблении. Ведь там,

на новом месте, будет создана новая лечебница, — объяснили они русским врачам.

Больных погрузили быстро и тихо. Немецкие солдаты действовали умело, сноровисто. Видать, им было все это не впервой.

«Оппель-капитан» мягко выкатил со двора. За ним, приглушенно урча моторами, двинулись грузовики.

...Сколько бы лет ни прошло с того дня, в памяти Анатолия Алексеевича ничего не истлеет. И если бы тот немецкий врач (он действительно был врачом, это — единственное, в чем фашист не солгал тогда) вдруг встретился Беляеву в тысяча девятьсот пятидесятом или шестьдесят пятом, встретился постаревшим, до невероятности изменившимся, все равно он узнал бы его с первого взгляда. Прежде чем передать преступника правосудию, Беляев сказал бы ему...

Навязчивая эта мысль часто преследовала Анатолия Алексеевича и во время войны, и после Победы. Она приходит к нему и сейчас, в наше время, стоит лишь представить себе, что есть на свете страна, где палачи ходят в героях. Она, эта мысль, лишила Беляева покоя в те летние дни сорок третьего года, когда в освобожденном Орле Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний гитлеровцев точно установила, что больные, вывезенные из Кишкинки, были сразу же расстреляны. Трупы свалили в ров и старательно закопали.

«Что бы я сказал ему, сведи нас вдруг снова судьба? Ни одному твоему слову не верил, ни одному ухищрению. Тем более не верю таким, как ты, сейчас, когда война отошла в прошлое и кое-кому очень хочется начисто вытравить ее следы из памяти народов. И ни когда не поверю, никогда не усну спокойно до той поры, пока топчут землю человекоподобные звери, пока хотя бы один из них имеет возможность уйти от суда и возмездия».

* * *

Лазарету Протопопова было велено разместиться в полуразрушенном здании бывшей биофабрики, за городской чертой.

Биофабрика... Немцы отлично знали; что это такое. Ходили слухи, что после того, как фашистская бомба разрушила ее здание, вся местность вокруг стала заражена столбняком и сибирской язвой. О, да это же просто удача! — решили фашисты, затеяв эксперимент в типичном для них духе. Пусть русские врачи, раненые и больные на себе продемонстрируют, действительно ли местность заражена.

Что ж, нет худа без добра, из всего можно извлечь пользу.

Когда Смирнов со своим «штабом» обсудил сложившуюся ситуацию, то увидел в ней, наряду с серьезной опасностью, и определенные заманчивые преимущества: немцы, как черт ладана, боятся заразы; почему же этим разумно не воспользоваться?

Пока фашисты шарахались от предостерегающих надписей на перекрестках дорог к биофабрике, там, по ту сторону ограды, шла напряженная работа. Под руководством Протопопова и Беляева сотрудники больницы тщательно дезинфицировали помещения, перекапывали и поливали раствором хлорной извести опасную территорию.

Сюда стали обращаться за помощью жители окрестных деревень. Вот пришла крестьянская семья: мать кжжючет о двух взрослых дочерях, им грозит отправка в Германию. Они находят убежище здесь в палатах. Скрывается тут партизан, раненный во время вылазки. На другой койке лежит боец подполья, орловский коммунист. Их истории болезни по уже испытанному ранее методу подменены историями тех, кто умер или давно выписался. Для других больничные карточки составлялись заново — так, чтобы немцам ни за что не докопаться, кто тут лежит, откуда прибыл, ранен он или болен и чем болеет.

Долго гитлеровцы не показывались на территории биофабрики. Но однажды Они все же решили подвести итог своему дьявольскому эксперименту. Каким он был неожиданным! «Подумать только, что за фортуна этим русским? Всего-навсего два случая заболевания сибирской язвой. Да еще когда? В самом начале. Выходит, серьезной опасности

не было; там более нет ее сейчас. Раз так, приберем-ка мы к рукам помещение биофабрики».

И в августе 1942 года лазарет Протопопова снова очутился на улице. Опять пришлось Вениамину Александровичу Смирнову убеждать городскую управу и немецкое военное командование, что нет им никакого расчета закрывать лечебное учреждение, что они от этого ничего не выиграют, а наоборот, окажутся в большом проигрыше. Смирнов добился своего: бывший госпиталь, точнее, его хирургическое отделение, получил новое пристанище — в деревянном особняке на улице Тургенева. Тыльной стороной он выходил в общий с другими строениями двор. Там расположилась фашистская воинская часть. Солдаты маршировали по двору, проводили учения, горланили песни. Гул моторов автомашин и треск мотоциклов не давал больным сомкнуть глаз.

И все же не в этом было главное неудобства нового помещения, а в том, что теперь стала необходимой особая осторожность: все врачи, сестры, санитарки, раненые и больные были на виду у врага.

* * *

Сюда и принесли Константина Синицына. Высокий и широкоплечий, он едва умещался на узеньком и коротком для него брезенте носилок.

— Принесли новенького? Давайте, давайте его сюда,— услышал Синицын густой мужской голос и открыл глаза.

Санитары, доставившие раненого пилота, и патруль, сопровождавший их, ушли. Сергей Павлович плотно закрыл за ними дверь, помог Наде Сырцевой — светло-русой, стройной своей помощнице — приготовить раненого и, склонившись над ним, отцовским жестом поправил влажную от пота прядь на его высоком лбу.

Надя всматривалась в обескровленное лицо раненого. Сколько она перевидела страданий за то время, что работает здесь, рядом с Сергеем Павловичем! Казалось бы, сердце ее могло окаменеть, восприятие притупиться.

Такая уж досталась ей профессия. Да еще война!

Война началась для Сырцевой не в этой больнице, не в Орле, а раньше — в неравных боях с немцами под Брестом.

Испытав горечь стольких утрат, по стонущей, обливаемой кровью родной земле пробиралась потом Надя на восток - в надежде вырваться из окружения. Нет, не вырвалась: родной Орел, куда она в конце концов пришла, был уже захвачен врагом.

Смирнов, когда Сырцева предложила свои услуги Русской больнице, расспросил, как вела она себя в боях, каким путем добралась до Орла. Ответы девушки вполне удовлетворили Вениамина Александровича. Еще бы! Такая медицинская сестра — это же находка для всех них — и для врачей, и для раненых.

Взор Синицына перебегал с сосредоточенного и добродушного лица хирурга на миловидное, очень внимательное лицо молодой сестры, возвращался обратно, снова изучал доктора. В голубых глазах летчика были беспокойство, недоумение, ожидание беды.

— Да вы не бойтесь, здесь же все свои!— вырвалось у Нади.— Вот увидите, все будет хорошо.

— Да, да, сынок,— подхватил Сергей Павлович,— ты попал к своим, к русским людям. — И хирург стал осматривать раненого.— Свои, сынок, свои. Можешь не сомневаться.

Глаза летчика потеплели и наполнились слезами.

— Откуда ты родом? — опросил Протопопов, продолжая осмотр.

— Коломна, Московской области,— с трудом выговорил Синицын.

— Вот это — встреча! — обрадовался Сергей Павлович и еще ласковее заглянул в глаза раненого. — Ну, сынок, не ожидал. Мы с тобой, выходит, соседи. Я ведь москвич. Приятно, очень приятно!

Сергей Павлович аккуратно прикрыл раненого до самого подбородка простыней, дал указания стоявшей рядом Сырцевой и сказал, обращаясь к Константину:

— Подстрелили тебя крепко. Да еще дорогой порастрясли. Ранение не из легких. Прямо говорю. Но мы постараемся это побыстрее ликвидировать. От операции воздержимся. Словом, сделаем, что требуется.

«А как же — фашисты? — хотел опросить Сеницын.— Они ведь знают, где я. Неужели я им больше не нужен? Если бы так!»

— Поставим на ноги не для врага,— сказал Протопопов.— Таковую услугу делать ему вовсе не в наших намерениях. Совсем даже наоборот.

Сеницын благодарно улыбнулся, с глубоким вздохом облегчения прикрыл глаза. Все понятно, товарищ - доктор. Только вот что ему делать дальше? Как себя держать, если фашисты наведуются? В том, что это неотвратимо, сомневаться не приходилось. И не для праздных разговоров пожалуют. Сеницын, отдавая себе в этом отчет, молчал и напряженно думал: что его ждет?

И опять Сергей Павлович прочитал его мысли.

— Учти, сынок, следующее. Скоро явится немецкий офицер с переводчиком. От этого нам не уйти. Их очень интересует каждый наш летчик, попавший в плен. Объяснять — для чего, я думаю, нет необходимости; ты не ребенок, а военный летчик. Пока еще есть время, хорошенько подготовься к малоприятной встрече. Заранее продумай, что отвечать при допросе и о чем не проронить ни слова, как отвечать и как молчать. В этом сейчас твой бой.

— Понимаю, товарищ доктор... Ни слова они из меня не вытянут. Не на того лапали!

— Э-э, нет, сынок! — отрицательно замахал головой хирург. — Молчание — золото, да только не при таких обстоятельствах. Зачем молчать? Какой смысл? Наоборот, говорить и говорить, да так, будто ты ничего от них не скрываешь, будто единственное твоё желание — поскорее все, что знаешь, им выложить. А молчанием все равно не отделаешься. Говори, говори, чтобы сбить их, проклятых, с толку.

Вечером в палату, где лежал Сеницын, зашел Ширман. На почтительном расстоянии от него — весь внимание к каждому слову обер-лейтенанта, к каждому жесту — следовал переводчик.

Сеницыну уже был сделан рентгеновский снимок. Врачи установили перелом и раздробление тазовых костей. Раненый был положен на специальный щит, стянут простыней, по концам которой — по одну и другую стороны — с кровати свешивался груз: по два кирпича. Были предписаны строгий покой и абсолютная неподвижность.

Ширман, узнав об этом, пристально посмотрел на Протопопова. Сергей Павлович выдержал испытующий взгляд.

— Откуда они у вас такие нежные? — раздраженно опросил обер-лейтенант. — Опять нельзя допрашивать?..

— Что вы, что вы, господин офицер! Кто сказал — нельзя? — В тоне Протопопова послышались огорчение и обида.— Наоборот. Мы же сделали все возможное. Мы позаботились, чтобы он был в состоянии отвечать.

Выслушав переводчика, начальник разведки ничего не оказал в ответ. Молча, по обыкновению надменно держа прилизанную на пробор голову, он прошел мимо врачей и сестер в перевязочную, окинул ее быстрым взглядом хищника.

— Помещение очистить! Допрос будет тут. Пленного доставить сюда.

Ширман скомандовал, ни на кого не глядя, и опустился на предложенный ему стул. Вытянул длинные ноги. Его тупоносые сапоги на толстой подошве блестели на самой середине комнаты.

Протопопов попросил выйти из перевязочной всех, кто там был, — врача, сестру, раненого, которого не успели как следует перевязать. А сам принялся помогать санитарам —

те уже несли по коридору койку с Сеницыным.

Нести нужно было очень осторожно, избегая даже малейшего толчка. Это требовало времени, а Ширман торопился, нервничал, не мог усидеть на месте. Да что они тащатся, не выказывая перед ним должной расторопности? Или совсем забыли, кто они и кто для них он, Ширман?! Пора бы им знать!

Обер-лейтенант вскочил со стула, пнул его ногой. Стул захрохотал, покотившись к стене.

— Быстрее, черт бы вас всех побрал, русские свиньи! — заорал Ширман по-немецки. — Что вам здесь — курорт, санаторный пансионат!? Прекратите этот глупый спектакль! Волоките быстрее: не рассыплется!.. Слышите вы, грязные скоты?!

Переводчик вознамерился было перевести его слова, но Ширман так топнул на него ногой, что тот прикусил язык.

— Отставить! Пора им, наконец, понимать, что приказывает немец!.. Слушайте, вы! — обер-лейтенант подбежал к Протопопову. — Не может быть, чтобы вы не пошмали немецкого языка! Я же знаю: вы образованный человек, вы просто прикидываетесь, разыгрываете всех нас!.. Ну, правду я говорю или нет?! Отвечайте, иначе будет худо!

Сергей Павлович невозмутимо повернулся к переводчику:

— Чем недоволен господин офицер?

Переводчик объяснил Ширману: судя по всему, русский врач ничего не понимает по-немецки.

— Ах, вот оно что! — еще больше рассвирепел фашист. Он подскочил к Протопопову и замахнулся на него кулаком. Все замерли. Но немец сдержался, не ударил. Злая усмешка перекосила его остроносую, с выпяченным подбородком, хищную физиономию. Ширман решил действовать иначе. Он шатнул к койке с Сеницыным, уже наполовину внесенной в перевязочную, протянул к ней обе руки. Еще секунда — и гитлеровец остервенело рванет койку.

Но этого сделать он не успел: Сеницына заслонил Протопопов. Лицо хирурга залила желтоватая бледность. В глазах появился лихорадочный блеск. Они смотрели на немца в упор, не мигая.

— Простите, господин обер-лейтенант,— произнес Протопопов как мог спокойнее и сделал паузу, дожидаясь, пока его слова будут переведены на немецкий язык. — Я вынужден вас предостеречь. — Опять пауза для перевода. — Вы можете одним лишь движением испортить всю обедню. — Протопопов заставил себя улыбнуться. — «Испортить обедню» — так говорят у русских. Пленный летчик на волосок от смерти. А мне передали приказ спасти его, дать в руки немецкого командования человека, а не комок костей и мяса... Я этот приказ стремлюсь выполнить и выполняю, если мне не помешают. Раненому предстоит сложная операция. Но уже сейчас, до операции, он к вашим услугам, его можно допросить.

Ширман снова опустился на стул. Сдерживая раздражение и тяжело дыша, через переводчика ответил:

— Согласен. Освободите помещение!

Койку с Сеницыным поставили перед стулом, на котором сидел фашист. Рядом с ним, не смея присесть, почтительно согнувшись, застыл переводчик. Кроме этих двух и Сеницына в перевязочной никого не осталось. Они были с глазу на глаз: фашист и его холуй — с одной стороны, советский летчик - с другой. Лютые, непримиримые враги.

... Когда Сеницына возвратили в палату на прежнее место, рядом с койкой Гомзикова, первое, что увидел Константин, были глаза Александра — встревоженные, вопрошающие. Говорить не хотелось. Было такое чувство, как будто из тебя только что тянули жилы, сосали кровь.

— Ну, как? — не вытерпел Гомзиков. — Очень трудно было?

— Еще бы не трудно,— устало ответил Сеницын. — Не то, что тебе. Скажи спасибо Борису Николаевичу. Вот мне бы спать да спать, а не перед фашистским гадом

исповедоваться. Привязался: скажи ему, где штаб воздушной армии базируется.

— Ну и что, оказал?

— Ты меня за кого принимаешь? — обиделся Сеницын. — Да я бы после этого... Сергей Павлович не зря старался. Усыплять — не усыплял, а «лекарство» дал. Да, был бой.

— Значит, выстоял, Костя? — обрадовался Гомзиков. — Так бы и говорил сразу, не тянул.

Сеницын помолчал. На бледное его лицо снова набежала тень.

— Старался, но вряд ли поверил мне этот волк. Только вид сделал...

* * *

Кроме Гомзикова, в палате дожидалась Сеницына дежурная медсестра Аня Давиденко. Она тоже очень волновалась за исход допроса.

Аня — молоденькая, хрупкая на вид девушка — приходила в палату и днем, и ночью, всегда аккуратно одетая, бодрая, щедрая на улыбку. Она не торопилась уходить, даже если сутки напролет провела в больнице. Когда начинается и когда кончается ее дежурство, и вообще отдыхает ли она, терялись в догадках больные. А если случалось, ее не было долго, то все знали — у Ани хватает дел и вне больницы: транспортировка больных и сбор у населения перевязочных средств, белья, продуктов питания, топлива — богатства, которому не было цены.

Ухаживая за больными, Аня присматривалась к ним — как человек настроен, чем дышит, сломлен ли он или готов продолжать борьбу. Она знала, с кем нужно вести себя поосторожнее, а с кем быть откровенной, не таиться. И этим последним — так, чтобы другие не слышали — она доверительно говорила о возможности выбраться отсюда и снова стать не только свободным человеком, но и бойцом.

Раненые слушали ее с горящими глазами. Они верили ей: да, там, за стенами больницы, бой продолжается. Враг напрасно тешит себя, что советский город в его руках растерзан, растоптан. Ничего подобного! Пробираются по улицам, из дома в дом смелые, настоящие люди, не дают пощады оккупантам. Мечущимся, кровавым и зловещим, но обнадеживающим светом вдруг заливали стекла окон зарева пожарищ.

Нередко ночь раскалывалась взрывами, автоматными очередями, пистолетными выстрелами. Они тоже и путали, и вселяли надежду.

Кое-кому было известно, что внезапное исчезновение Василия Лосунова и Александра Семеновича не обошлось без участия молоденькой сестрички. Не зря они с ней подружились и о чем-то подолгу доверительно беседовали. А, впрочем, чему тут было удивляться? Ребята молодые, бедовые — дело обычное. Но вот вопрос — как и куда она их спровадила? Среди раненых ходили слухи, что Василий поселился у Давиденко, прописан на ее квартире под видом родного брата. А Саша-москвич, как называли его в палате, тот неведомо где живет, но опять-таки к Ане частенько наведывается. Так ведь ему перевязывать рану нужно; она у него еще не затянулась. Кто же сделает это лучше Дни? Вот и ходит к ней, лечится. Чему же тут удивляться? И зачем думать бог весть что?

Но все это были только слухи: толком ничего не знал никто. Может быть, Лосунов и Семенович отправлены в лагерь военнопленных или еще подальше — в тыл к немцам. Мало ли какая беда могла парней подстеречь? При чем же тут медицинская сестра Аня Давиденко? А если она и сделала доброе дело, то не лучше ли помолчать о том?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Скромный, мало чем отличающийся от других, таких же деревянных и одноэтажных, домик на улице Савке и Ванцетти. Незатейливые, но веселые наличники и ставни, сохранявшие в летнюю пору прохладу в тихих, небольших, просто обставленных комнатах. Таких домиков в Орле много.

Хозяйкой здесь — мать Ани, Анна Андреевна Давиденко, бухгалтер одного из орловских учреждений. Невысокая, с темными гладкими волосами, разделенным пробором. Глаза ее — большие, задумчивые и ласковые, окруженные морщинками,— глубоко посажены под тонкими бровями и высоким лбом. Прямой нос, маленький, почти детский рот. Когда он раскрывается в доброй улыбке, то по углам его возникают складки, а на щеках — ямочки. Анна Андреевна миловидна и приветлива. Она славилась гостеприимством, умением содержать дом в исключительной чистоте. И легко представить себе, как, скрепя сердце, привыкала сейчас в своих комнатках к хаосу и беспорядку. А какого труда и душевной борьбы стоило ей теперь появляться на пороге растрепанной, неопрятной, отталкивающей.

И всему виной Жора. Это по его совету действовала Анна Андреевна и достигла цели: гитлеровские квартирмейстеры, ищущие уюта и комфорта для немецких офицеров, поворачивали оглобли. Нежелательные постояльцы убирались прочь, и Жора, приходя в домик

Давиденко в равное время дня — на час, на два,— сквозь большие круглые очки взглядывал на хозяйку с благодарностью.

Он в таких случаях ничего не говорил, только молча смотрел — бледный, усталый, невыспавшийся.

Жора был высок, чуть сутуловат. Черные густые волосы с серебристыми предками он зачесывал наверх, открывая большой чистый лоб только с одной морщинкой — поперечной, у переносья. Упрямая складка гонких губ дополняла портрет этого волевого человека.

Жора — конспиративная кличка Александра Николаевича Жореса (Комарова).

Саша Комаров, рабочий-сормович, в 1918 году добровольцем отправился на гражданскую войну защищать Советскую власть. При штурме Перекопа паренек был тяжело ранен. Вот тогда, в грозные годы, на госпитальной койке пришла ему мысль: в честь знаменитого французского трибуна Жана Жореса называться его фамилией.

Отвоевав, Александр Жорес учился в Петроградском коммунистическом университете, одно время был на партийной работе, а потом посвятил себя профессии, избранной на всю жизнь: преподавал историю в средней школе № 26 города Орла. В тот год, когда началась Великая Отечественная война, Жорес, заочно окончив исторический факультет Курского педагогического института, был назначен на должность директора школы, в которой в последние годы учительствовал.

Списанный с воинского учета по состоянию здоровья, Жорес добивался в военкомате отправки на фронт. Ему отказывали, он имел возможность эвакуироваться на восток, в глубь страны. Однако Александр Николаевич принял решение остаться и скрестить оружие с оккупантами. Только так он мог жить, дышать полной грудью, не терзаться угрызениями совести, что не всего себя отдает народу и партии.

Из не приметного деревянного домика в захваченном фашистами Орле Жорес направлял удары подрывников и поиски разведчиков. Сюда, на конспиративную явку, приходили к нему связные из Брянского леса и подпольщики-пропагандисты, что несли советским людям правду в листовках, переписанных от руки в сотнях экземпляров на страничках ученических тетрадей.

Молчаливая, всегда спокойная Анна Андреевна выходила на условный стук в дверь или в ставню окна. Затаившись, готовая ко всему, терпеливо ждала положенного ответа на пароль. Встречала незнакомых людей и, удостоверившись, что это именно те, кого нужно принять, сопровождала гостей в дальнюю комнатку к Александру Николаевичу. Оставив их с Жоресом с глазу на глаз, Анна Андреевна занимала пост у крыльца, чтобы предупредить об опасности.

Провожая потом этих людей, она знала: сегодня ночью, или, в крайнем случае, завтра раздастся еще один взрыв, вроде того, что потряс гостиницу «Коммуналь», где веселились гитлеровские офицеры. Знала, что взлетят на воздух сотни бочек с бензином, как на воинском складе на Кромской площади. И, действительно, гремели взрывы, пылали

немецкие склады и гаражи на Курской улице, в Рабочем городке, на Комсомольской...

Частенько появлялся в ее доме паренек, но Анне Андреевне было известно лишь его имя: Павлик. Она не знала, что он комсомолец, работает на станции грузчиком и состоит в отряде разведки, которому поручено держать под наблюдением определенный участок железной дороги.

Однажды Павлик пришел запыхавшийся, возбужденный. Пока Анна Андреевна вела его в комнату, где проходили свидания с Жоресом, Павлик все никак не мог успокоиться. «Немец, фашистский фельдфебель, а связался с нашими подпольщиками, снабжает нас оружием, боеприпасами. Вот это да! Щупленький такой, белобрысенький, уже в годах. Но руки у него рабочие крепкие, прямо-таки железные. Такелажник с Данцигской судоверфи, сын рабочего, ненавидит Гитлера и фашизм так же, как и мы».

— Здравствуй, Павлик,— вышел Александр Николаевич навстречу. — Почему ты сегодня не вовремя?

— Срочное донесение, товарищ Жора!

— Ну-ка... Интересно,— Жорес присел на табурет в углу, у закрытого ставней окна. — Садись, выкладывай

Павлик сел на стул, дождался, пока Анна Андреевна вышла и плотно затворила за собой дверь. Только тогда; сообщил:

— Карл подает сигнал: завтра прибывает состав с продовольствием. Для немцев, которые на передовой у подходов к станции Орел появится в двенадцатом часу ночи. Вполне можно встретить, как положено...

— Отличный парень ваш Карл, — сказал Жорес. — Передай товарищам, чтобы побережнее с ним были. Остерегайтесь навлечь на него подозрения.

— Мы это понимаем, товарищ Жора, ведам себя осторожно, но я обязательно еще раз ребятам скажу.

— Сегодня же... Теперь поговорим, как нам лучше встретить состав. Стоящее твое предложение: встреча должна состояться. Только — вот досада! — времени у нас в обрез. Ребята на узле имеют на завтра другое задание, не менее важное. Их отрывать нельзя никак.

—А я на что? Поручите мне и моим комсомольцам. Ну и что с того, если мы сегодня разведчики? А завтра можем быть и боевиками. Не сомневайтесь, товарищ Жора.

Жорес задумался. Потом снял очки и, тщательно вытирая стекла платком, произнес:

— Больше и некому, парень. Да беспокоит меня вот какая штука: без тебя ребята твои вряд ли управятся.

— Почему это без меня?

— А на работу кто выйдет?

— Ну ее к черту, эту работу на фрицев! — привскочил от возбуждения Павлик. — Обойдутся без меня, не велика беда.

— Не-е-ет, Павлуша,— велика. Нельзя тебе просто так — взять и не выйти на работу. Должность твоя для нас очень ценная. Сам понимать должен, где находишься, что видишь и слышишь.

— Я понимаю... Но что, же делать?

— Получить освобождение. По всем правилам. От врача. Выкручивайся, как можешь. На сердце жалуйся, на боли в животе. Мол, таскал тяжести на станции, надорвался.

— Это можно, товарищ Жора.

— Ну, тогда действуй,

Паренек нахлобучил кепку. Жорес тепло улыбнулся ему вслед.

Анна Андреевна и Жорес оставались вдвоем недолго. Пришел Александр Семенович. Семенович был всего на несколько лет старше Павлика, но такой же стремительный, нетерпеливый, горячий. Едва успев в начале войны пройти ускоренный курс в военной школе радистов, получил назначение на фронт, в самое пекло. Один за другим боевые вылеты на ночном тяжелом бомбардировщике, каждый раз — со смертью накоротке. Вблизи Орла попал под непроходимый огонь немецких зениток. Из самолета, вспыхнувшего словно

факел, успел выброситься с парашютом. В воздухе получил тяжелое ранение.

Семенов с трудом держал забинтованную голову. Время от времени морщился от боли. Опускаясь на диван, сказал Жоресу:

— По-настоящему еще бы в госпитале мне лежать. Рана-то вот ведь что творит, проклятая...

— Никак не думал, что тебе в больнице лежать понравилось,— пошутил в ответ Александр Николаевич и уже серьезным тоном добавил: — Все это хорошо по-настоящему, в настоящей больнице и в другое время. Поспешили, потому что подходящий случай был. На другой день могло случиться, что уже поздно было бы тебя выводить. Рисковать тобой не имели права.

— Хорошенького себе братца заполучила Настя! — Саша имел в виду санитарку, на квартиру которой прописался под видом ее брата. — Такую обузу взвалили на плечи девушки. И Ане одно беспокойство...

— Брось-ка об этом думать. Лучше расскажи мне — что новенького у твоего друга? Как он там, на аэродроме?

— Помаленьку втирается в доверие. Нужно, говорит, все устроить лучшим образом и для себя, и для меня.

— А что? Совсем бы неплохо вам обоим на какое-то время там приземлиться. Оба вы — авиаторы, парни крепкие. Немцам такие работники очень даже нужны Ты передай ему: я одобряю. Пока ты еще лечишься, пусть он почву для тебя готовит. Вдвоем вам легче будет сделать все в точности, как задумано. Все, понимаешь?

— Он вам уже рассказывал? — удивился Саша. — А я-то думал, это лишь так, одни фантастические планы.

— Нет, не фантастика, а конкретные действия. С товарищами посоветовались. Обещали оказать помощь, пусть только подвернется случай. А он подвернется, я уверен. И, может быть, ждать его осталось недолго.

Жорес не ошибся: вскоре случай подвернулся.

Однажды на советский прифронтовой аэродром южнее Москвы приземлился немецкий истребитель. Все, кто был в те минуты на летном поле, приняли в объятия двух русских, плачущих от счастья. Василий Лосунов и Александр Семенов в точности выполнили план, разработанный штабом орловского подполья и осуществленный при его прямом участии.

Вот как это случилось.

«Летающие смерти» не давали покоя гитлеровскому аэродрому под Орлом. Бомбежки следовали одна за другой

Немцы не успевали засыпать воронки и выравнивать взлетное поле. Оки согнали на аэродром городское население, русских военнопленных и большую группу поляков, которых насильно, за какую-то провинность, вывезли из родных мест в прифронтовую зону. Жорес и Михаил Андреевич Суров — брат Анны Андреевны Давиденко, в прошлом комсомольский работник, а сейчас, в оккупированном Орле, слесарь — подослали туда надежных людей. Они сделали так, что один неисправный истребитель оказался на самом краю летного поля. Он стоял на ремонте отдельно от всех остальных. Да еще был отделен глубокой воронкой от других самолетов.

В полдень, когда у этой машины остались Лосунов, Семенов и немецкий механик, а землекопы, понукаемые охраной, торопились засыпать свежие воронки — последствия нового налета «Илов», Василий Лосунов вдруг вскочил в самолет и сходу нажал кнопку пуска винта.

Еще не догадываясь, зачем русский делает вовсе не то, что нужно, — ведь ремонтировалось шасси, а мотор был в полной исправности,— механик только открыл рот, чтобы спросить, в чем дело, как от удара по голове тяжелым ключом свалился замертво.

Александр Семенов, отбросив клюга в сторону, одним прыжком занял место в

задней кабине. И туг истребитель рванулся на взлет...

Все это случилось гораздо позже, а сейчас Семиненко дожидался Аню в домике на улице Сакко и Ванцетти, где она должна была перевязывать ему как назло незаживающую рану.

Наконец раздался тройной условный стук в дверь. Но это была не Аня. Вернулся Павлик — угрюмый, насупившийся.

— Ничего не получается, товарищ Жора,— сказал он, комкая в руках капку.— Не дает, гад фашистский, освобождения. Облаял и выгнал. Грозился, что отправит, куда нужно за симуляцию...

— Ладно, носа не опускай, — Жорес потрепал парня по плечу.— Садись-ка и имей терпение дождаться Аню. Она с медициной — друзья-приятели, чтонибудь обязательно придумает. А мы с тобой тут бессильны. Поэтому

ПОСИДИ, ПОМОЛЧИ.

Аня, действительно, придумала. Сделав перевязку Семиненко, она снова ушла в больницу, пригласив Павлика прийти туда через час. Вместе идти нельзя: такой визит вызовет подозрение. Кроме того, этот час нужен ей с Сергеем Павловичем, чтобы все приготовить. Кофеин должен быть в дозе, которая наверняка сделала бы Павлика «больным», не нанеся ущерба его здоровью.

Другой немецкий врач признал Павлика нуждающимся в освобождении от работы. Он выдал справку по всей форме.

В полночь больница была разбужена грохотом взрывов. Они доносились со стороны железной, дороги.

— Отлично, Павлик! Молодцы, ребята! — радовалась Аня Давиденко, дежурившая в ту ночь в больнице.— Встретили фашистский эшелон!

...Анна Андреевна сказала Жоресу, что вот-вот вернутся домой сестры Елена и Антонина. Жорес обрадовался: очень хотелось ему повидать их.

Из трех сестер Елена Андреевна Сурова больше всех была похожа на Михаила. Как брат, она отличалась веселым нравом, не унывала, не терялась в любой обстановке. Под стать сестре была и Антонина Завадская — коммунистка, хорошо понимавшая, чего требует от нее в захваченном врагами городе ее партийный долг. Жорес решил использовать то обстоятельство, что сестры были санитарками. До оккупации Елена работала в детской поликлинике, а Антонина — на городской станции скорой помощи. Лучшего места, чем в Русской больнице, им было не подобрать. Решение друга Михаил Суворов одобрил.

Анна Андреевна готовила к приходу сестер ужин, скудный, очень даже скудный, лишь заморить червячка. Давно в этом доме не подавали на стол настоящей пищи. Изредка партизаны и подпольщики приносили невероятно аппетитный каравай, пачку печенья, горсть сахара или настоящую роскошь — банку меда. Все это были трофеи, взятые либо при

взрыве фашистского эшелона, либо при налете на обоз с продовольствием или на немецкий склад. Но никто в доме не притрагивался к таким бесценным сокровищам, как бы, ни мучил голод. Все это берегли и через Аню, ее мать и теток пересылали раненым. Так было строго заведено у подпольщиков с первого дня.

За ужин сели все вместе. Жорес — не столько для того, чтобы поесть, сколько, чтобы «поддержать компанию» и за беседой узнать о новостях. А новости сегодня были. И неплохие.

— Вы только подумайте, — рассказывала Елена Сурова,— нет, вы только представьте себе, Александр Николаевич, до чего же все ловко. Я, как глянула на ведра с молоком, так, знаете ли, ахнула: «Да где же вы это взяли, девчата?» А они друг на дружку стеснительно так поглядывают, мнутя да помалкивают. Пока одна, выдать, заправила всего, не вышла вперед и спокойненько так, ну словно и в помине нет ни немцев, ни войны, заговорила: «А где ж его взять? Надоили и все». Поворачивается, берет у подружки сверток, протягивает на?!, недогадливым: «Вот тут еще — маслице. Мы его сами сбили. Тоже для наших воинов. Пусть скорее поправляются».

— Им Сергей Павлович,— вставила Антонина Андреевна в рассказ сестры,— поклонился в ноги. «Девочки мои родные, вы же самые настоящие героини. В этих бидонах, говорит, — спасение жизни многих красноармейцев. Большое-пребольшое вам спасибо...» А та, что Лизой назвалась, отвечает Сергею Павловичу: «Что азы что вы, доктор! Мы-то тут причем? Это все — ребята. Немцы дали им пасти свес стадо, а они правильно решили: зачем зевать? Отгонят коров в укромное местечко. Мы тут быстренько надоим, так, чтобы не очень заметно было. Они сольют молоко в бидон, замаскируют его на дне оврага и погонят скот на другой луг... Ребята еще в лес сходили за земляникой. Тоже — для вашей больницы. Скоро должны принести. Вот они какие молодцы. А мы — что? Мы всего только и делали, что доили коров с немецкой фермы. Да не фашистская та ферма, наша она — русская, советская! И луг — тоже наш и лес, и земляника в лесу. Вот как мы рассудили». Сергей Павлович их всех обнял, словно детей родных, и расцеловал. Попросил, чтобы они от его имени и от всех раненых большую благодарность передали пастушкам. И еще он им оказал: «Будьте очень, очень осторожны, мои милые. Гитлеровцы, если, не дай бог, проведуют, набросятся на вас хуже самых кровожадных зверей».

— Хорошие ребята,— заметил Жорес, — большое дело делают. Видать, отчаянные. Нужно будет через наших комсомольцев с ними связь наладить. Помочь им необходимо. Всеми мерами. Какие ребята, ах, какие ребята!..

Сулова и Завадская ушли на свою половину. Пора было уходить и Жоресу. Он уже поднялся, чтобы проститься, но тут пришла Аня. Взглянув на нее, Александр Николаевич обрадованно подумал: «Все идет хорошо». И не ошибся.

Сегодня еще два наших командира, выбравшись из больницы на свободу, благополучно обосновались в домиках у санитарок. И с пропиской все в абсолютном порядке. Начальник паспортного стола одного из отделений полиции — этот пожилой представительный мужчина, о котором Ане было известно, что он до оккупации работал диспетчером на станции Орел, — снова проявил пунктуальность в выполнении указаний подпольного центра. Паспорта уже вручены фиктивным братьям санитарки и медицинской сестры.

Александр Николаевич не успел, как следует порадоваться сообщению Ани: вошел Суров с недоброй вестью. Жорес сразу понял это по выражению лица друга. Михаил решительно положил руку на плечо Жоресу и увлек его в соседнюю комнату.

Они плотно закрыли дверь и, насколько позволяли размеры комнатки, отошли от двери подальше,

— Все подтвердилось, Саша,— сказал Суров. — Меня проверяют па работе. За твоим домом посматривают.

Надо думать, они о чем-то пронюхали.

— Нет дыма без огня,— ответил Жорес спокойно, словно давно ожидал этого сообщения, был готов к нему. Только глаза его за стеклами очков стали грустнее обычного, и под смуглой кожей заходили желваки. — То-то сегодня увязался за мной один тип. Еле я от него ушел. Что ж, будем расходиться. На какое-то время. По намеченным ранее путям. Ничего не попишешь. Теперь мы с тобой, видать, не встретимся долго, впредь до особого сигнала. Связи перестроим.

— Попятно. Передам,— ответил Суров.

— С тобой я знаком чисто случайно,— сказал Александр Николаевич все так же, не выдавая волнения. — А с сестрами твоими всего-навсего коротал время. У Анны Андреевны я сегодня в последний раз. Явочная квартира ликвидируется. Это передашь в первую очередь. Всем, кому сможешь...

— Но про нее немцы еще не знают. Зачем спешить? Повременим, а? Я здесь тебя замену или кто другой.

— Ни в коем случае! Пока еще есть день, даже час нужно отвести беду от Анны Андреевны, твоих сестер, от Ани. Они ни к чему не причастны. И ты, и я, и все, кто может попасться, должны па допросах твердить только это. Ничего другого.

Жорес, помолчал, что-то обдумывая. Поперечная складка на лбу, у переносья, пролегла глубже. На худых щеках вспыхнули кирпичные пятна.

— Досадно, что с приемником и листовками не довел я до конца,— сказал он.— Кабаненко ждет моих указаний, но ни мне, ни тебе к нему являться теперь уже нельзя.

— У него какой-нибудь план имеется?

— Имеется, и хороший. Да что толку, ведь я его должен подтвердить. Без этого он действовать не начнет. Вот досада! Намечена была наша встреча здесь, на явке, через три дня. Листовок ждут везде. Очень просили о них в больнице. С радиоприемником откладывать нельзя. Нужно закончить монтаж завтра же. Доставить на место и немедленно начинать прием. Как думаешь, Миша, кто бы мог сказать об этом Кабаненко?

— Быстрее и лучше Ани — никто.

— Пожалуй, ты прав. Да, вот еще что: Кабаненко, как условились, в операцию с приемником включает Карла. Тот может сделать многое. Ну, теперь, пожалуй, все,— грустно улыбнулся Александр Николаевич,— давай прощаться. Знать бы, когда свидимся?

Они молча широко и крепко, по русскому обычаю, обнялись и расцеловались.

Кто нам скажет, было ли это расставание последним? Удалось ли им потом, в гитлеровском застенке, перед казнью, обнять друг друга, прощаясь уже навсегда?

Через несколько минут Жорес вышел из домика Анны Андреевны.

Ни Жорес, ни Суров не знали, что преданы. У них и в мыслях не было, что в группу подпольщиков смог проникнуть осведомитель ГФП - «Гехайм фельд полицай», тайной полевой полиции.

Лишь строгая конспирация явки на квартире Давиденко и то, что о роли этой семьи в делах подпольщиков было известно самому узкому кругу лиц, позволило впоследствии Жоресу сохранить свободу и жизнь Анне Андреевне, Ане и ее теткам. Но и без этого агент тайной

полиции сделал свое черное дело.

По его донесениям вокруг подпольной группы плелась крепкая сеть. Набрасывать ее фашисты, однако, не спешили и продолжительное время мало чем выявляли себя по отношению к Жоресу и его боевым соратникам. Агенту было приказано вести наблюдения так, чтобы можно было покрепче ухватиться за одну из нитей, которые связывают орловских подпольщиков с брянскими партизанами.

Он ждал и своего дождался.

Связная из лесов Брянщины и Жорес встречались с глазу на глаз вроде бы случайно: то там, то здесь. О таких свиданиях тайная полиция узнала. Но брать партизанку не торопились. Ей дали благополучно возвратиться в лес и через какое-то время снова встретиться с Жоресом в Орле.

В подлой душонке провокатора все тряслось: «Уйдет! Обязательно уйдет! Чего они канительятся, эти тупые солдафоны — немцы?! Разве им возразишь?» И он, молча, скрепя сердце, выслушивал приказания, терпеливо ждал появления партизанской связной. А тем временем разыгрывал перед Жоресом, Суровым и их ближайшим товарищем по борьбе Георгием Михайловичем Огурцовым ненавистника оккупантов.

Девушка-связная еще раз ушла в лес. Теперь уже с просьбой Александра Николаевича получить указания, как им действовать в неожиданно сложившейся трудной и опасной ситуации. Очередная задача, поставленная перед ними в Орле, оставалась пока невыполненной.

Услышав тревожное сообщение Сурова, Жорес прежде всего подумал о связной: по всем расчетам девушка должна бы уже возвратиться.

Выходя в последний раз из домика Анны Андреевны, он был уверен, что с разведчицей ничего не случится, что она законспирирована самым тщательным образом, благополучно пройдет с его донесением туда, в лес, и с приказом обратно в Орел. Он не мог себе представить, что смелая и осмотрительная девушка, которую он ждет, от которой

зависит теперь их спасение, никогда с ним не встретится. В эти самые минуты, искушав в кровь губы она молчала под страшивши пытками на допросе. И молчала до конца.

...На другой день Аня Давиденко в транспортной конторе городской управы отыскала Якова Кабаненко.

Он работал здесь переводчиком.

В управе были убеждены, что этот немолодой, степенный и грустный человек никогда не служил в Красной Армии, что попал он в Орел из Западной Украины в настойчивых, но тщетных поисках семьи, которую «красные» насильно увезли при отступлении.

Что это именно - так, подтверждало напечатанное в городской газете объявление: Кабаненко Яков Федорович разыскивает супругу Ольгу Петровну и двух детей — Люду и Колю в возрасте трех и пяти лет. Кто знает о том, где они находятся, и сообщит потерявшему покой мужу и отцу, будет им щедро вознагражден. Объявление было с удовлетворением воспринято не только в управе, но и в немецкой тайной полиции.

Вероятно, кроме Жореса и Сулова никто не имел понятия, что Кабаненко вовсе не Кабаненко, что в действительности он — коммунист и военный человек — заместитель командира батальона связи Красной Армии, что семья его живет в Москве, никуда оттуда не выезжала. Там он с ней и простился, отправляясь на фронт в первый день войны. Никто в Орле не знал, как доблестно сражался в Прибалтике и Западной Белоруссии этот внешне сугубо штатский человек, как попал потом в окружение и был пленен в жестоком неравном бою, как сквозь три ряда колючей проволоки под огнем пулеметов и в слепящем свете прожекторов бежал он и скрылся в лесу, как, голодный и полураздетый, по лесам и болотам долго пробивался к линии фронта, которая все уходила и уходила... Где-то в волостной управе на оккупированной территории, удалось ему от верного человека получить для себя фиктивные документы на вымышленную фамилию Кабаненко. С ними он попал в Орел, где уже хозяйничали оккупанты. И вот пригодились ему здесь и фиктивные документы, и воинская доблесть, и профессия связиста, помноженные на закалку, которую получил этот человек в неравных сражениях начала войны, во вражеском окружении, за колючей проволокой лагеря смерти и в казалось бы безысходном, горьком пути на восток после побега из плена.

Аня сказала ему слово и слово то, что должна была сказать по заданию Сулова:

— Больных проведать немедленно и с хорошей передачей. Привет и добрые пожелания другу, данцигскому такелажнику!

Кабаненко все понял и крепко пожал маленькую, но сильную руку девушки.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На правом берегу Орлика, в бывшем здании государственного банка, помещалась группа ГФП-639, приданная второй немецкой танковой армии и непосредственно подчиненная отделу 1-Ц штаба армии. Отдел 1-Ц штаба проводил контрразведывательную работу на всем протяжении фронта, занятого второй танковой армией. Задание группам ГФП германское командование формулировало кратко: «Бороться с проникновением советских разведчиков в немецкие вооруженные силы, с разложением и дезертирством в самой немецкой армии, с партизанским движением в зоне действия армии, вести контрразведывательную работу среди населения, выявлять советских разведчиков, партизан, лиц, связанных с ними».

Тайная полевая полиция не жалела усилий, чтобы найти и завербовать агентов среди местного населения. Так настоятельно предписывала инструкция из самого Берлина. Дело это было не из легких. Подлецов, выродков удавалось, конечно, найти и направить на черные дела. Но «товар» этот (так чиновники ГФП меж собой называли наемников) не отличался качеством, пользы от него было не слишком много.

Мрачные забранные железом ворота ГФП распахивались преимущественно под покровом ночи. Закрытые грузовики с обреченными на расстрел узниками выкатывались

тогда из двора, сопровождаемые легковыми «оппелями» и «мерседесами», в которых находились палачи. Из окон большого кабинета, расположенного на втором этаже, открывался вид на Орлик.

В кабинете сидели четверо: капитан Бено Кукавка — начальник группы ГФП-639, его заместитель обер-лейтенант Ганс Хиндель, уже знакомый читателям начальник военной разведки в Орле обер-лейтенант Фриц Ширмай и капитан Адольф Гофман — начальник орловского лагеря военнопленных.

Бено Кукавка — высоченный сухощавый детина — одет в штатский костюм добротной ткани. Костюм плотно облетает фигуру капитана и в то же время скрадывает остроту и узость плеч, неуклюжесть огромных рук и ног. Костюм сшит по последней моде и тщательно отутюжен: Бено щепетилен в отношении своей внешности. Белоснежный плотный воротничок подпирает голову удлинённой, яйцевидной формы. Горбатый хищный нос, маленькие глазки-буравчики, тонкие, плотно сжатые губы, до блеска выбритый и припудренный подбородок...

Кукавка возглавил орловскую группу тайной полевой полиции всего полгода назад, в мае сорок второго. Но за это короткое время он успел заслужить во всей округе известность беспощадного гестаповца. Разве сочтешь, сколько людей погибло от его усыпанных веснушками, поросших рыжими волосами рук? Они хватали мертвой хваткой.

Впрочем, следует уточнить, что Кукавка непосредственно расправлялся со своими жертвами в особых, исключительных случаях, возлагая «черную работу» на подчиненных. Благо, мускулистый и плотный, любящий хорошо поесть и крепко выпить, с бегаящими крысиными глазками Ганс Хиндель выполнял эту «работу» с наслаждением.

Кукавка, не задумываясь, одним скупым жестом обрекал на смерть женщин, стариков и детей, если те всего, лишь, подозревались в сочувствии партизанам или имели неосторожность обмолвиться откровенным словом по адресу «нового порядка». К советским разведчикам, партизанам и лицам, которые в той или иной мере им содействовали, применялись, с одобрения Кукавки, изощренные пытки. Часто допрос заканчивался смертью. Не зря слыл Кукавка преуспевающим. Не зря в Берлине к нему благоволили все больше, о чем свидетельствовал и сам факт назначения капитана сюда, в Орел, с этот решающий узел коммуникаций на подступах к Москве. В ставке фюрера Орел называли форпостом немецкой армией перед упрямой русской столицей, которая никак не желала следовать примеру других европейских столиц, покорно опускавших на оба колена перед всепокрушающей военной машиной «великого райха». Не напрасно Кукавка со дня на день ожидал производства в майоры.

Он знал множество способов спутать человека, надломить его волю, толкнуть в пропасть предательства. Его сослуживцы поговаривали — с завистью одни, с гордостью другие, — что из тех, кто попадался ему в руки, он прямо-таки веревки вил. Тому, кого он решил завербовать, оставалось лишь два пути: медленная, мучительная смерть или измена Родине, служба ее злейшим врагам.

... В кабинете Кукавки шел разбор жалобы Адольфа Гофмана.

Начальник лагеря военнопленных жаловался на Русскую больницу. Из-за нее, дескать, лагерь превратился черт знает во что.

— Поймите меня правильно, господа, — с настойчивостью объяснял Гофман. — Не сборный лагерь у нас, а проходной двор. Куда, в какую сторону глядят его растворенные ворота? И не думайте, что в протектораты райха и самый райх, как должно быть. Нет, прямо в противоположную сторону. Допустим, еще не доказано, что пленные ухитряются перейти фронт или попасть в партизанские банды. Но где гарантия, что это не так? Не успеют появиться, а их уже волокут туда, в больницу. А кто знает, лечатся они в действительности или скрываются от плена?

Гофман сидел рядом с обер-лейтенантом Хинделем и Ширманом за круглым столом, накрытым белой скатертью. В стаканах золотился крепкий чай. На блюдах лежали аппетитные бутерброды с красной и черной икрой, с прозрачной польской ветчиной, к

которой Кукавка был неравнодушен. Он поглощал ее огромными ломтями на зависть Хинделю, который испытывал страх, чувствуя, что обрастает жиром. В коробках с яркими наклейками разных стран теснились бисквиты и шоколад.

— Вы опять, капитан, возвращаетесь к уже надоевшей нам теме,— мягко возразил Кукавка, подвигая к себе длинными пальцами бисквит.— Сколько можно об одном и том же?

Он повернулся к своему заместителю, и тот торопливо закивал в знак согласия головой с большими оттопыренными ушами. В душе, однако, он не был согласен с Куколкой и находился на стороне Гофмана.

«Подумаешь,— рассуждал он про себя,— в лагере разразился сыпняк, пленные дошли без медицинской помощи. Ну и что? Кому жедохнуть, как не этим русским? Они все — красные, их нужно выводить под корень. Когда эти негодяи Светаев и Логунов вздумали обратиться к администрации лагеря со своими дурацкими пятью условиями, Кляус их предупредил: «Слишком много на себя берете. Не затевайте глупое ходатайство. Если спросят, каково мое мнение, не надейтесь. Поймите: за смертность в лагере с меня никто не спросит, а за уход пленных в штрафную попадешь».

И все же они не угомонились, наплевали на Кляуса. Дошли до такой наглости, что полезли к самому генералу, прибывшему в лагерь с инспекцией. Тот их послушался и уступил. Им разрешили открыть за пределами лагеря барак—изолятор для тифозных. Им позволили принять меры против завшивленности. Они получили разрешение обратиться с просьбой к Русской больнице о помощи лагерю специалистами-медоками. Они добились даже такой невиданной поблажки: пленных русских офицеров, которые поймали тиф, теперь можно было госпитализировать в этой больнице. Более того, лагерю дозволялось установить контакт с ее персоналом.

Выходит, что мы испугались распространения эпидемии. Наделали в штаны от страха... Так затряслись, что патрульных, которые сопровождали русских из лагеря в больницу, тоже поспешили убрать: как бы и они не захворали. Удовлетворились... А чем? Поручительством Светаева и Логунова за четырех носильщиков из числа санитаров, таких же лгунов и бандитов, как эти русские врачи. Чего стоит их поручительство? Лично он, Хиндель, будь на то его власть, давным-давно упрятал бы носильщиков вместе с врачами куда следует».

— Либо у меня — лагерь для русских военнопленных, где действуют со всей строгостью законы против наших злейших врагов,— продолжал Гофман,— либо... какой-то вертеп, открытый для каждого и всякого. Учтите, господа, помимо всего другого явного вреда, такой вертеп разлагает не одних наших пленных, а заодно и охрану. Уже был случай, когда солдаты открыто выражали сочувствие русским больным. Вот до чего дошло! Извините меня, я не могу себе представить, как наш генерал мог санкционировать выдумки и ухищрения русских пройдох.

Хиндаль не сдержался, ехидно бросил:

— Красная зараза во сто крат хуже тифозной! Фриц Ширман, держа в одной руке на весу стакан с чаем, другой, опустив в стакан ложечку, сделал успокаивающий жест в сторону Хинделя.

— Ну, ну, обер-лейтенант! Наши солдаты поскорее хотели избавиться от вшивых русских, чтобы не заболеть тифом. Я бы на их месте сделал то же самое. Только и всего. И не так уж зел'ика утечка из лагеря.

— Да вы просто не в курсе дела! — вспыхнул Гофман.— Бывают дни, когда русские носильщики выносят по десять и даже по двадцать человек. Я уже не говорю о тех, которые отправляются в русский лазарет по вашим личным указаниям... Позвольте мне задать вам вопрос: для чего пленных летчиков уносят из лагеря? Что за привилегии?

— Ну, знаете! — возмутился Фриц Ширман,— задавать подобные вопросы недостойно и оскорбительно; может быть, капитан Гофман полагает, что я сочувствую большевикам?!

Кукавка неторопливо отложил в сторону белоснежную салфетку, которой вытер жирный рот, и, даря всем сразу улыбку, сказал:

— Не следует горячиться и говорить друг другу лишнее, господа. Прежде всего, не делайте поспешных выводов. Советую подумать об интересах империи, как думал, как обязан был думать наш генерал. Взгляните на общую ситуацию его глазами. Честно говоря, что мы с вами видим капитан Гофман? Только то, что под нашим носом,— не дальше, не больше. А ему, генералу, хорошо известно положение в тылах, в глубоких тылах. Он знает, что они оголены, что людей везде не хватает, что в городах и деревнях райха каждая пара рабочих рук уже на вес золота. Пришло время не истреблять, а использовать военнопленных, как даровую, крайне нужную Германии рабочую силу. Вот что сейчас в интересах империи. Этого нельзя забывать. Не следует горячиться. Я обращаюсь ж вам обоим, Гофман и Ширман. К чему взаимные обиды и недоверие? Давайте обсуждать положение спокойно, здраво. Пленных летчиков нельзя было не лечить. Мертвые, как всем известно, по-казачьи давать не в состоянии. А военная разведка обязана их допрашивать и добиваться определенных сведений. Что же тут поделаешь? Адольф Гофман не сдавался:

— Тогда позвольте задать один вопрос: где они, эти летчики? Русские летчики, которых вы, герр обер-лейтенант,— Гофман иронически кивнул своему противнику в споре,— опекаете, мрут там с неменьшим старанием, чем сделали бы они это у нас в лагере.

— А вы когда-нибудь бывали в лазарете русских? — спросил Кукавка.— Какой там, к черту, лазарет? Да ничего похожего! Условия не намного лучше, чем у вас в лагере. Скученность и антисанитария. Ни лекарств, ни еды. Нечем делать операции. Весь инструментарий давно у них изъят вместе с бельем, посудой и даже матрацами. Мне тут как-то докладывали про русского хирурга... Знаете вы его, наверное, бородой густой оброс, высокий такой, брюки в сапогах. Так вот, он плакал как дитя. У него умирал больной. Необходимо было срочное переливание крови. Только это могло его спасти... Что ж тут удивительного, капитан, если и у них там непомерно высокая смертность?

Фриц Ширман почтительно привстал перед Кукавкой.

— Разрешите мне дополнить,— сказал он. — Очень жаль, что капитан Гофман ни разу не заглядывал в русский лазарет. Зря упустил он подходящий случай. Наши врачи на днях инспектировали эту больницу. Как вы полагаете, господа, сколько времени они смогли выдержать в палате? В любой палате... Вам трудно поверить. Самое большое — три минуты! Как ни стараются русские лекари, а раны на их пациентах не зарубцовываются, гниют. У свежего, нормального человека там выворачивается нутро, тянет на рвоту... Но Гофман и теперь не сдавался:

— Хорошо. Пусть так. Но почему вы полагаете, что эти красные фанатики не ведут подрывную деятельность, не занимаются саботажем?

— Опять вы паникуете,— усмехнулся Фриц Ширмац и развел руками. — Будьте же благоразумны: разве они в состоянии?

— Не ручайтесь за них, Представьте себе—в состоянии,— отпарировал Гофман,— если за ними хотя бы чуть-чуть ослабить контроль. Даже подыхая в своей вонючей больнице, они будут помогать партизанам и всякой сволочи. Удивляюсь вашему оптимизму.

Цепким взглядом хитрого и наблюдательного подчиненного Хиндель уловил на лице Кукавки колебание. И не на шутку встревожился. Теперь уже не думая о том, попадет ли в тон начальнику, Хиндель решил, что обязан поскорее бросить свой камень на чашу весов.

— Можно мне, господин капитан? — спросил он. Кукавка кивнул.— Опасения, на мой взгляд, не лишены логики. Я много раздумывал над недавним случаем, который произошел на аэродроме. Как смогли эти русские днем, на виду у всех, захватить боевой самолет? Расследование, вы помните, никуда не привело: беглецы, согласно документам, оказались случайными людьми в нашем городе. Они не содержались в лагере, не лечились в русском лазарете. Механик, по общему убеждению, оказался просто растяпой и вполне заслужил, что они проломили его глупую голову. А вот я не верю результатам "расследования. Мы просто не захотели копнуть поглубже, вот и все. Пусть так, пусть в

лазарете у русских не обнаружены комиссары. Но ведь всякому здравомыслящему понятно: все русские, все без исключения заражены коммунистической бациллой.

Адольф Гофман подхватил:

— Зачем терять время? Предлагаю поставить вопрос о немедленной ликвидации Русской больницы. Пленных вполне можно лечить и в лагере. А отправится в преисподнюю лишняя сотня—меньше опасений, что они опять станут боеспособными врагами Германии... Я прошу вас об этом, господа!

Начальник лагеря отряхнул с мундира накрахмаленной салфеткой хлебные и бисквитные крошки и уставился на Кукавку взглядом, в котором смешались едва сдерживаемое нетерпение и почтительное ожидание. По откормленной физиономии Ганса Хинделя пошли красные пятна: ему было далеко не безразлично, поддержит ли его опасения капитан или отвергнет.

Бено Кукавка минуту-другую помолчал, наслаждаясь напряженной тишиной, воцарившейся в его кабинете, и волнением собеседников, ожидающих, что скажет он, от которого все зависит.

Прежде чем заговорить, Кукавка встал, одернул на себе пиджак, вышел из-за круглого стола и по широкой ковровой дорожке направился к массивному двухтумбовому письменному столу. Над ним висел портрет Гитлера в блестящей позолоченной раме. Фюрер был запечатлен на трибуне. Должно быть, он посылал проклятия злейшим врагам Германии — коммунистам и русским. «Ах, если бы все получилось в точности, как хотел, как предсказывал наш великий фюрер,— с горьким сожалением подумал Кукавка.— Давно уж быть бы нам в Москве, а не мерзнуть в этом проклятом Орле. Да, с этими русскими фюрер чего-то не учел. Значит, мы обязаны быть вдвойне, тройне осторожными, все предвидеть, все предупредить. Конечно, проще простого гнусную эту лечебницу прихлопнуть. Согнать всех русских в лагерь, да построже содержать. Но чего мы этим добьемся?»

Кукавка мысленно прочитал одно из положений, определяющих деятельность ГФП на оккупированной территории:

«Не ловля шпионов является главной задачей контрразведки, как бы обязательна она ни была,— а предупреждающая их появление защита путем проведения мероприятий, которые заранее делают невозможно работу вражеской службы разведки, саботаж и пропаганду, или ограничивают ее деятельность ничтожными размерами. Она должна не рубить сплеча, а предупреждать».

— Нет, господа,— сказал Кукавка, загородившись письменным столом и в полусогнутом состоянии опираясь на него широко расставленными длинными руками. Горбатый, хищный нос повис над чернильным приборам.— Рубить сплеча нельзя. Никак нельзя закрывать нам русский лазарет. Кто в таком случае оградит армию фюрера от сыпняка, брюшного тифа и других эпидемий? Орел — важный стратегический пункт. Допустить, чтобы эпидемии разрослись, значит совершить тяжкое государственное преступление. Преступниками будут кто? — Он сделал паузу, не спуская с них глаз.— Я и вы. Больше никому.

Начальник ГФП оторвался от стола, расправил плечи и стал опять прохаживаться тем же маршрутом — по ковровой дорожке от круглого стола до письменного и обратно.

— Но, — он сделал многозначительную паузу,— кое в чем все-таки правы капитан и обер-лейтенант. Русским нельзя доверять. За такой совет, за такое предостережение мы должны быть благодарны. Но этого одного— я надеюсь, вам это понятно — слишком мало: необходимы не слова, а энергичные действия. Так вот, господа, не стану скрывать от вас,— заключил он.— Слушайте же. Мы на этих днях закончили подготовку ценного агента. Его предполагалось бросить на другой важный объект. Но, учитывая просьбу Ширмана, я пришел к выводу, что целесообразнее будет послать агента в русскую лечебницу.

— Это очень кстати, — вставил Хиндель. — До сих пор наша агентура ничего

там не добилась.

Заложив руки за спину, Кукавка остановился как раз на середине между столами. Раскачиваясь на носках, он любовался эффектом своего сообщения. О, да, они лишний раз убедились, что он оправдывает надежды фюрера, что по заслугам не сегодня-завтра получит повышение в звании, а там, бог даст, и в чине.

— Полагаю, возражений не последует, господа? — спросил Кукавка тоном, подчеркивающим его превосходство.— Если это так, то прошу прощения: меня ждут неотложные дела.

Ганс Хиндель, Фриц Ширман и капитан Адольф Гофман, довольные и примиренные, поспешно встали и щелкнули каблуками.

Кукавка проводил их ухмылкой. Он предвкушал свой новый успех. Что там ни говори, а ему здесь, в Орле, везло. Везет тому, кто этого заслуживает, кто умен, энергичен, ловок. Он еще покажет, на что способен. О нем еще заговорят в Берлине!

И скоро, очень скоро заговорили.

Орловские подпольщики вели строгий счет преступлениям Бено Кукавки. Из рассказов жертв, чудом оставшихся в живых, складывалось обвинительное заключение пропив преуспевающего палача. Наконец состоялся суд, предельно короткий и немногочисленный, но, безусловно, справедливый. Приговор обжалованию не подлежал. Привести его в исполнение было решено не мешкая. В приговоре было точно определено и место, где палач должен быть казнен.

22 июня 1943 года в самом центре города, на берегу Орлика, невдалеке от «Гехайм фельд полицай» грянул револьверный выстрел. Кукавка замертво рухнул на горячий асфальт тротуара.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

По краю тротуара, стараясь никого не задеть своей ношей, шагал неторопливой походкой молодой человек с мешком за плечами.

Шел он долго: путь был не близок. Все время на противоположной стороне улицы, опираясь на палку и покашливая, ковылял за ним плохо одетый, сгорбленный и дряхлый старичок. Он не спускал с парня глаз.

Они поднялись к площади Ленина, где в наши дни весело звенят трамваи, а автобусы и легковые автомобили проносятся на все четыре стороны от красавицы-площади, вознесшей над своими цветниками памятник Ильичу. В то время, о котором здесь идет речь, это было захламленное, пустынное и безлюдное место.

Молодой человек с мешком за плечами зашагал быстрее, свернул направо, ступил на прямую дорожку бульвара. Старичок следовал за ним, соблюдая все ту же дистанцию.

Бульвар вывел парня на небольшую площадь у главного входа в городской сад. Осталось пройти вдоль ограды сада и свернуть на улицу Восьмого Марта. А там — рукой подать до приземистого домика с двумя подслеповатыми окнами.

Старичок тыльной стороной ладони облебенно смахнул пот со лба и перевел дыхание: «Фу-у... Кажется, пронесло!»

И тут оба они — и парень, и старичок — замедлили шаги. У ограды сада, под деревьями оказалось несколько военных автомашин. Перед ними лениво отмерял шаги долговязый часовой. На животе его болтался автомат.

Парень с мешком попятился было на дорожку сквера, но понял: поздно.

— Хальт! — окликнул его часовой. Сделав шаг вперед, он требовательным жестом подозвал парня к себе.

Секунда нерешительности: подойти или повернуть назад? Что менее рискованно? Нет, если не подчиниться, наверняка будет хуже.

Старичок при окрике часового споткнулся и тоже замер. Потом он, прижав ладони к

груди, зашелся в неистовом кашле. Редкие пешеходы сочувственно поглядывали на беднягу.

Его с такой жестокой силой терзал приступ кашля, что старичок не мог устоять: пошатнулся, шагнул в сторону и, обняв одной рукой ближайшее деревцо, отплеываясь, что-то ворчал про себя, мечта исподлобья взгляды на гитлеровца и подошедшего к нему парня. «Вот тебе и на, вот так пронесло!..»

Парень послушно опустил перед солдатом мешок на землю и, выполняя приказ, развернул горловину. Вытянув длинную шею, солдат заглянул в мешок и уже готов был запустить туда ручищу, как вдруг отдернул ее и рывком повернулся. Свободная рука солдата нащупала и кратко сжала ствол автомата. Кто посмел? Чья ладонь перехватила его запястье?

Но он сразу сник. Перед ним стоял фельдфебель. Уже немолодой, шупленький (солдат был выше его на две головы), белобрысый. Смотрел исподлобья, осуждающе.

Но не только погони старшего в звании и его взгляд заставили солдата с особым рвением вытянуться и мгновенно выбросить из головы добычу, которая привлекла его в тугом мешке русского. «У этого стареющего малыша не руки, а клещи. С ним шутки плохи...»

— Дьявольщина! Чем занимаешься на посту?! Кто учил тебя так нести караульную службу!?

Солдат молчал. Русский парень тем временем поспешно завязал мешок. «Уходить или дожидаться разрешения фельдфебеля?»

Фельдфебель, отчитав солдата, сверкая глазам! гаркнул:

— Марш на пост!

Солдат, козырнув и сделав «кру-гом!», поспешно от бежал к машинам.

Теперь фельдфебель круто повернулся к парню:

— Ты еще здесь, русский свинья?! — заорал он так что старичок перестал кашлять и отпрянул от дерева, наблюдавшие эту сцену прохожие сочли за благо не любопытствовать и заторопились, кто куда.— Марш!

И когда парень вскинул мешок на спину и повернулся к фельдфебелю спиной, тот пнул его коленкой:

— Шмель, руссиш швайн!..

Побои и ругательства были у немцев обычным де лом. Но вот не ударил же он кованым своим саложисцем, как это у них принято. И вообще — что это все означает? Даже не полюбопытствовал, а что же в мешке? Ведь мог же разгрести картофельную шелуху?..

Парня бросило в холодный пот: можно представить себе, чем бы это кончилось.

Такие мысли явились к нему, когда он торопливее прежнего уже продолжал свой путь, слыша за спиной спокойный кашель старика: тот не отставал.

Вот, наконец, их домик. Парень нырнул в переулок, задворками осторожно пробрался к крылечку и скрылся в сених так, что никто его не заметил. Старик постоял у ограды, потом неспешно отворил калитку и медленно, озираясь, зашел в дом.

— Все в порядке,— Михаил прошел в комнату и бережливо поставил мешок на пол. Сел на пододвинутую Алексеем табуретку, улыбнулся усталой улыбкой.

Вскоре вошел и старик — Георгий Михайлович Руднев. Он тяжело плюхнулся на диван и, обращаясь к Михаилу, заговорил:

— Ох, супостат обаянный! Как он тебя остановил, у меня душа в пятки ушла. Ну, думаю, пропадешь ни за понюх табаку. АН, нет, пронесло. И откуда только взялся на наше счастье этот фельдфебель? Знаешь, Миша, что я тебе скажу? Глазами он сверкал, ругался, на чем свет стоит, а морда у него все же добрая. Это — точно говорю.

Дав отцу немного отдохнуть, Алексей попросил его выйти во двор покараулить, а сам вместе с Михаилом вынул из мешка радиоприемник. Потом друзья спустились в подвал. Вход в него был — лучше не надо: прямо из коридора.

Приемник долго настраивали, но хорошей слышимости все лее не добились. Наконец, Михаил решительно оказал:

— Так дело не пойдет. Придется высунуть антенну наружу. Опасно, но что же делать?

Времени у нас нет. Кабаненко сказал: сводку надо принимать немедленно и сегодня же размножить.

Как давно все это было и как недавно! Кажется, будто их солнечная, счастливая юность осталась где-то за тридевять земель, и не год-два отделяют ее от нынешней, полной тревог и лишений жизни, а долгие века.

Они росли по соседству, на улице Ленина в Орле, на той улице, что прямо и круто поднимается от Орлика к площади Ленина — одному из красивейших мест старинного русского города.

Алексей незадолго до войны приобрел специальность печатника. Михаил был художником. В грозный день двадцать второго июня Алексей Руднев и Михаил Богданчиков явились в горвоенкомат. Им вручили назначения в редакцию армейской газеты «За счастье Родины».

Тяжелые оборонительные бои под Смоленском... Окружение под Ельней... Небольшой коллектив редакции армейской газеты много дней скрывался в лесах, спасая свое несложное имущество. Все они — журналисты и типографские рабочие — стремились, во что бы то ни стало, пробиться сквозь вражеское кольцо. Но это оказалось невозможным, и поступил приказ: уничтожить всю материальную часть, из окружения выходить мелкими группами, кому как удастся.

Руднев и Богданчиков держались рядом на всем пути; через вражеские тылы. Труден был этот путь в непролазную слякоть по лесам и болотам, где на каждом шагу ты мог оказаться перед дулом фашистского автомата. От голода и болезней едва держась на ногах, добрались они, наконец, до орловской земли.

Было это в конце ноября.

На отдых, на то, чтобы как-то прийти в себя, набраться сил, отпустили они себе времени самую малость. К тому времени линия фронта передвинулась уже к Ельцу. Лавина фашистских танков неудержимо неслась вперед и, казалось, не было преград, которые могли бы ее остановить у Москвы.

Где-то между Мценском и Корсаковой гитлеровцы устроили облаву на русских, выходявших из окружения. Алексея и Михаила прикладами карабинов затолкали под брезент автомашины. Пришли они в себя в темноте, оглядевшись, поняли: автомашина мчится в Орел. Зачем их туда везли? В лагерь, на истязания, на смерть? Неужели ради этого шли они по горячей родной земле через тысячи бед? Под самым городом, выбрав удобный момент, они перочинным ножиком распорол брезент и выпрыгнули.

И вот они опять в городе своего детства и юности. Два солдата, вырванных из боя... Это сейчас, когда враг рвется к Москве!

Алексей и Михаил старались разобраться в обстановке оккупированного города, не сами же собой взрывались склады гитлеровцев, гигантскими факелами вспыхивали в ночи бензохранилища, рушились, давя фашистов, гостиница казармы, летел под откос на подступах к станции воинский поезд? Это дело умелых рук и отважных сердец.

Где они, те подлинные хозяева города, что не давали врагу покоя, стреляли в него, забрасывали гранатами, боролись с ним всеми доступными средствами?

Случайная встреча на улице... Разговор с человеком, который — они это хорошо знали — был коммунистом. Тайная беседа в доме, где до войны их принимали хорошие люди. Та же квартира, те же хозяева... А может быть люди уже не те? Можно ли им доверять?

Алексей и Михаил шли как бы сквозь густые потемки дорогой, которую приходилось брать метр за метром, на ощупь, иначе не мудрено сорваться в пропасть. К каждому встречному присматривались: а что у него на душе, остался ли он человеком?

Тем временем и с них не спускали изучающих глаз. Кто-то невидимый шел рядом. Шел точным курсом, потому что дорогу знал. Кто-то старался им помочь выбраться на нее. Но делал это исподволь, потому что не был уверен, пойдут ли они, как надо, не отступаясь,

через все и до конца.

Перед войной Алексей Руднев какое-то время работал в областном управлении промысловой кооперации. Секретарем партийной организации был там Иван Иванович Сезоненко — потомственный макеевский шахтер. Алексей и его ровесники любили слушать рассказы "Ивана Ивановича о гражданской войне. Тридцать лет в родной донецкой земле долбил угольный пласт отец Ивана, обогащая и без того купающихся в золоте шахтовладельцев. Когда в девятьсот двадцатом иностранные и свои, русские, толстосумы, направив на шахтеров белогвардейские штыки, вновь попытались захватить Донбасе, старый забойщик не покорился. Белогвардейцы до смерти запороли его шомполами. В том же году потерял Ваня и старшего брата. Он ушел в отряд Красной Армии разведчиком. Враги схватили юношу, долго мучили его, а потом расстреляли...

И вот однажды на улице Алексея вдруг остановил пожилой мужчина на костылях.

— Как, Алеша, дела? Чем занимаешься?

Не веря своим глазам, Руднев узнал Ивана Ивановича Сезоненко.

— Вы тоже здесь? — ответил он вопросом на вопрос. — Как же это?

— Да так вот. Третьего октября сидел в управлении с сослуживцами, решали всякие неотложные дела. Нужно было людей отправлять, документы. А тут он и... Уже на Комсомольской. Выбегаем, вскакиваем в полуторку, которую у крыльца наготове держали, и — газуй, шофер! Да только далеко не уехали. Машина метров сто прошла, а там зафыркала и стала. Все, кто мог, подались в Волхов, а я вот... Сам видишь: куда мне с моими-то ногами?..

Иван Иванович бросил угрюмый взгляд на свои костыли. Но когда он снова поднял глаза на Руднева, угрюмости и тоски в них уже не оставалось.

— Зайдем ко мне, Алексей. Как-никак старые знакомые. Я ведь тебя хорошо знаю: ты парень надежный.

Сезоненко повел с Рудневым разговор напрямую. Алексей внимательно слушал. Насчет участия в подпольной работе уклончиво обещал подумать: одолевали сомнения, способен ли инвалид на серьезные дела? Откуда было Алексею знать, что Иван Иванович уже связан с активно действующей группой подпольщиков-комсомольцев, и что они по его заданию не один день вели наблюдения за Рудневым и Богданчиковым.

Через короткое время Алексей встретился с инженером коммунистом Юрием Васильевичем Дмитриевым. Лишь позднее Руднев убедился, что ничего случайного в этой неожиданной встрече не было.

Дмитриев был молодым, большеглазым, очень подвижным и энергичным человеком. Они понравились друг другу, но весь вечер «играли в дипломатию», стараясь не раскрыть своих намерений. Наконец, Дмитриев поставил вопрос в упор:

— Ну, скажи, кому нужны бесплодные негодования и проклятия. Какая от них польза? Найди-ка лучше, парень, радиста и сделай радиоприемник. От этого будет настоящая польза. Согласен?

— Согласен, — ответил Алексей, покоренный прямотой и напористостью собеседника. — Я и а иду радиста! И приемник тоже будет. Обещаю.

Радостно было на душе у Руднева. Наконец-то кончились блуждания в потемках и вынужденное безделье. Вот оно, первое задание тех, кого он и Богданчиков с завистью называли подлинными хозяевами родного города! Миша Богданчиков должен немедленно обо всем узнать. Он же страстный радист, лучшего помощника для выполнения задания Дмитриева Алексею не найти. «Пожалуй, нужно посвятить в тайну и Ивана Ивановича, — подумал Алексей, — костыли костылями, но Сезоненко — человек, безусловно, надежный».

— Ну, вот давно бы так! — пряча улыбку и помалкивая о своем близком знакомстве с Дмитриевым, сказал Сезоненко, выслушав рассказ Алексея. — А то ты все осторожничал со мной. Берись за дело, а я помогу кое-что достать. Вместе будем действовать.

Пока Богданчиков у себя дома собирал радиоприемник, у Алексея Руднева появился новый знакомый. Привел его с собой Дмитриев. Знакомство состоялось на одной из квартир,

где теперь, когда в том являлась необходимость, встречались Сезонеико, Дмитриев и Руднев. Высокого мужчину средних лет с военной выправкой и худощавым волевым лицом Юрий Васильевич представил как своего друга, что надо было понимать так: перед ними — один из участников подпольной группы. Гость назвался Яковом Федоровичем Кабаненко.

Дмитриев и Кабаненко обсудили вопросы, связанные с работой пропагандистской группы. Потом у них возник разговор о Русской больнице.

Алексей знал, что Дмитриев — инженер, но причем здесь сидро, морс, хлебный квас, клюквенная вода? С какой стати Юрий Васильевич обязан поить немцев безалкогольными напитками?

— Да вы понимаете, сколько денег уплывает мимо нас? — горячо убеждал Яков Федорович. — А нужны они во как, — он приставил ладонь к горлу ребром. — Больнице не обойтись десятирублевками, которые взыскивает в ее пользу здравотдел городской управы с больных за день лечения. Много ли на десять рублей сделаешь при такой дикой дороговизне? Да еще учтите: наши раненые и вовсе себя не оплачивают.

Дмитриев слабо защищался:

— Разве же я об этом не думал? А Дарья Михайловна про это самое она мне говорила. Требовала, чтобы пошел в управу с предложением услуг: так, мол, и так, готов служить новой власти. А посему берусь залить город Орел квасами, морсами и сидро. Знаете, как она на меня нажимала, пока я патент не выхлопотал. Это ее идея — завод безалкогольных напитков инженера Дмитриева.

— Молодец, что нажимала, умница. Ведь такое доходное дело! Деньги сразу пошли?

— Немалые. В управе были довольны, и нам выгода. Вениамин Александрович очень обрадовался неожиданной помощи больнице.

— Она еще недостаточна. Может быть большей, намного большей. Вот о чем речь, Юрий Васильевич. Развертывайте производство на максимальную мощность. Об атом вас просит товарищ Жора. Такое задание дает вам штаб подполья.

— Передайте товарищам, задание выполняю, — ответил Дмитриев.

— Кстати, чем лучше будет работать завод инженера Дмитриева, — сказал Кабаненке. — тем больший авторитет получите вы в управе, а значит, всем нам легче будет вести работу. И мне из гужевой конторы станет удобнее общаться с вами.

Они опять заговорили о радиоприемнике. Нужно постоянно, день за днем оповещать население о том, что делается на фронте, чем живет Советская страна. Кабаненко и Дмитриев поинтересовались у Руднева, как идет монтаж приемника, что есть и чего нет, в чем еще нуждается Богданчиков?

Пришел долгожданный день. Михаил и Алексей в приземистом домике на улице Восьмого Марта настраивались на позывные Москвы.

Минут годы окончится война, сбудется все, о чем мечталось вплоть до стяга Победы над рейхстагом. Вернутся к семьям отцы, мужья, братья и сыновья, на которых не прислали похоронных. Поднимутся памятники, вспыхнет в светильниках Вечный огонь над прахом тех, кто никогда не вернется. Воспрянут из пепла города и села. Вырастет поколение, для которого все, пережитое нами, будет легендой. Но тот, кому в темноте фашистской беспросветной ночи довелось хоть раз ловить твой голос. Большая Земля, никогда не забудет этой минуты.

Сквозь электрические разряды и назойливое попискивание морзянки, наперекор лаю фашистских дикторов, завываниям джаза и литаврам маршей гитлеровцев, пробился к ним, согрел необыкновенным теплом, укрепил в их сердцах веру в Победу спокойный, твердый и до слез родной голос Москвы.

Порядок был заведен такой: сводку Совинформбюро и другие материалы московского радио принимал Алексей Руднев. Затем, переписав текст в нескольких экземплярах, он передавал его товарищам. Те, в свою очередь, размножив маленькие листочки и, спрятав их в голенища сапог, отправлялись с ними по точным адресам.

Здесь уже принимались за дело «экспедиторы». И так, по живой цепочке, от дома к

дому, из рук з руки, от сердца к сердцу шло живое слово Москвы все дальше и дальше: в квартиры горожан, в крестьянские избы, в палаты Русской больницы.

* * *

В одном из больших угловых домов по улице Салтыкова – Щедрина верхние два этажа занимала фельджандармерия, в нижнем размещалось воинское подразделение. Оно обслуживало хозяйственные нужды гарнизона оккупантов. На обширном дворе располагались зарядная аккумуляторная станция и дровяной склад. Заготовку дров и другие тяжелые физические работы постоянно выполняли военнопленные. Однажды в штабеле дров они обнаружили листовки со свежими сводками Советского Информбюро. Потом такие сюрпризы стали попадаться все чаще то здесь, то там - под самым носом у жандармов, словно в насмешку над ними. Это не могло долго оставаться для гитлеровцев тайной. «Майн готт! Большевистские прокламации во дворе самой фельджандармерии! Как они попали сюда? Где бандит, осмелившийся на такую дерзость?»

А «бандит» был неуловим. Электромонтер Петр Михайлович Гребенщиков не вызывал подозрений — скромный, тихий человек. Тем более он в хороших отношениях с переводчиком хозяйственной части, австрийцем из Вены Романом Климкевичем. На него и додумать нельзя...

Случалось, что Роман Климкевич зазывал Петра Гребенщикова на второй этаж в свою комнатуху и там, уединившись с русским, пытался вызвать его на откровенность. Австриец расспрашивал своего гостя об Орле до оккупации; ему хотелось знать, как жили в этом городе люди, как жила до вражеского нашествия вся страна. Его интересовало, верит ли Петр в то, что Россия способна выстоять, а Гитлер в конце концов сломает себе шею.

Петр Михайлович был настороже и отвечал, старательно обходя острые углы, не рассказывая того, что думает на самом деле, даже когда Климкевич давал понять, что его не следует опасаться.

Климкевич в конце концов не выдержал, сказал взволнованно:

— Я тебя понимаю, Петр. Ты видишь на мне мундир германской армии. Но мундир — это всего лишь внешняя оболочка. В душе я ненавижу фашизм. Большинству австрийцев не по пути с Гитлером. Нас силой мобилизовали в армию и погнали в Россию. Мы хотим, чтобы она победила своего врага. Верь мне.

Но и это не заставило Гребенщикова поверить человеку в фашистском мундире. Интересы строжайшей конспирации не позволяли ему быть с ним даже мало-мальски откровенным.

Не изменил Петр своей настороженности и после такого случая.

Гребенщиков шел по двору, как вдруг путь ему преградил дюжий жандарм. Ни слова не произнося, немец сильным ударом кулака в лицо свалил электромонтера на землю и стал жестоко избивать. Трудно сказать, чем бы это кончилось, если бы не Климкевич. Из окна своей комнаты австриец увидел, что происходило во дворе, и мигом примчался на выручку.

Жандарм послушался переводчика и избивание прекратил. Но освободить русского наотрез отказался. Петр Михайлович был брошен в залитый водою подвал. Там его несколько суток истязали, требуя признания в распространении листовок и в том, что это коммунисты-подпольщики и партизаны поручили ему вести подрывную деятельность против германской армии.

Гребенщиков держался стойко. Причастность свою к листовкам начисто отрицал. Прямых улик против него не было. Но Гребенщиков понимал: тайной полевой полицией вполне достаточно одних лишь смутных предположений, чтобы отправить свою жертву на виселицу.

И тут опять выручил Климкевич. Он добился от своего командира ходатайства перед комендатурой за русского электромонтера, «вполне лояльного и очень нужного работника». Гребенщикова освободили.

Когда Петр Михайлович, отлежавшись после истязаний, возвратился на работу, Климкевич позвал его «исправить выключатель». В своей комнатке австриец шепотом спросил русского напрямик:

— Это твоя затея с листовками?

— Нет, — отказался Гребенщиков, все еще не решаясь довериться переводчику.

— Ну ладно, пусть так, — сказал Климкевич. — Только смотри, Петр, будь осторожнее. В другой раз мне уже не поверят.

Электромонтер Гребенщиков опять принялся за исполнение своих обязанностей. Он свободно ходил по этажам большого дома, осматривал электропроводку, исправлял розетки и выключатели, менял лампочки в комнатах жандармов.

Если в комнате никого не оказывалось, Петр не пропускал возможности заглянуть в оставленную хозяином сумку. Когда в сумке жандарма попадался мощный ручной электрофонарь, монтер мгновенно вынимал из него аккумуляторную батарейку, а на место нее вставлял другую, отработанную.

Жандармы так и не догадывались — во всяком случае электромонтеру об этом ничего не было известно, — почему вдруг фонари переставали действовать. Каждый, видимо, считал, что кончилось питание. Никто не подозревал, что в домике на улице Восьмого Марта радиоприемник подпольщиков действует на этих батарейках.

Так они несли людям правду — Кабаненко, Дмитриев, Богданчиков, отец и сын Рудневы, Гребенщиков и их товарищи.

Маленькие тетрадные листки, тщательно переписанные от руки, противостояли потоку фашистской литературы, лживой и подлой от первой до последней строки.

Листовки со словами правды о боевых действиях наших войск, о жизни на Большой Земле все чаще и чаще появлялись на заборах, стенах домов и водоразборных колонках. Иногда орловцы обнаруживали их между страниц старых книг, которыми торговал комиссионный магазин, открывшийся с разрешения оккупационных властей на Ленинской улице. Переведенные на немецкий язык сводки Совинформбюро оказывались в кабинетах и кузовах военных автомашин, остановившихся в Орле. Они появлялись и на парадной двери городской управы, их читали даже в витрине у комендатуры, рядом с устрашающими приказами и объявлениями генерала Гамана — коменданта города.

Когда молодых орловцев стали силой отправлять в Германию, издававшаяся гитлеровцами на русском языке газетенка «Речь» пустилась славословить рай, который, якобы, ждет там наших юношей и девушек. Подпольщики обратились к землякам, разоблачая обман. Листовки простыми и ясными словами рассказывали, какая жизнь уготована тем, кто отправится на «чужбину. Они станут рабами фашистских помещиков и фабрикантов. «Матери! Как вы можете отдавать своих детей в неволю? Находите связь с партизанами, ищите пути спасения своих детей!».

После войны жители Орла супруги Золотаревы — Полина Самуиловна и Василий Порфирьевич — опубликуют в газете «Орловская правда» такие строки:

«Алексей Георгиевич Руднев в период оккупации Орла заходил к нам на квартиру и приносил сводки Советского Информбюро, написанные его рукой. Листки он прятал в сапоге. Каждый такой листок был для нас светлым лучом в фашистском мраке. Особенно нас обрадовала сводка о разгроме фашистов на Волге. Мы плакали от радости, обнимали отважного комсомольца, принесшего эту бесценную весть...».

Да, светлым лучом в фашистском мраке, бесценной вестью о грядущей свободе были немногословные тетрадные листки, с которыми шли по городу Руднев и его боевые товарищи.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Принимайте родных, Гомзиков, — тепло улыбнувшись, объявила санитарка Дуся и ввела в палату супругов Сергеевых.

— Здравствуй, сынок, — первым шагнул к койке Александра Иван Сергеевич.

— Здравствуй, отец! Здравствуйте, мама и сестричка! — радостно отвечал Александр, пожимая протянутые ему руки.

Сегодня в больнице — день свиданий, я в определенный час Сергеевы, ставшие здесь уже своими людьми, наведались к Гомзикову, принесли ему продукты, выстиранное и выглаженное белье, бинты.

Присев на табуретку у койки, Иван Сергеевич довольным взглядом окидывает палату: все в точности, прямо тебе по нотам, — еще один красноармеец обрел себе «отца» и «мать». Вот они склонились над постелью забинтованного паренька. Сергеев с болью подумал о том, что родной сын этих добрых людей далеко-далеко отсюда, что он неведомо, где бьется с врагом. Да и жив ли?..

Перед тем, как зайти в палату, где лежал Гомзиков, Иван Сергеевич успел в коридоре больницы побеседовать с «родственниками» других раненых. Ему приятно было от сознания, что они теперь есть и у летчика Синицына, и у пехотинца Коломийченко, и у танкиста Андрейченко. Семьями навещаются к своим «сынкам» по его, Сергеева, почину.

Встретилась в коридоре и «козья доярка». Так, шутя называл Иван Сергеевич Марию Федоровну Грачеву

Эта приветливая уже в преклонном возрасте женщина имела в больнице не одного, а нескольких «родственников». Отыскала она их и «усыновила» не без советов и прямого содействия санитарки Матрены Степановны Емельяновой — тоже «мамаши» раненых.

«Козьей дояркой» Мария Федоровна стала вот при каких обстоятельствах.

Грачева все допытывалась у врачей, чем можно помочь раненым, чтобы они быстрее вернули потерянную кровь и силы. И тут узнала о целебной силе козьего молока: оно подействует лучше всяких лекарств. Покупка, на которую решилась Мария Федоровна, требовала бешеных денег, но это не остановило Грачеву. Она не колеблясь, продала необходимые ей вещи, задолжала соседям и знакомым, а все же козу купила. Спекулянты и барышники, которые повылезли при «новом порядке» из всех щелей, рады были погреть заgreбушие руки. Ну и черт с ними! Она была счастлива: «сыночки» пили принесенное ею парное молоко и крепили у нее на глазах.

Время для свиданий истекло. Родственники прощаются и уходят, оставляя в палатах тепло рук и сердец.

Всегда после этого бывает грустно и одиноко...

Александр Гомзиков долго молча лежит на спине, заново переживает свидание.

Сколько ни старается Татьяна Дмитриевна, не может она глядеть на Александра без печали. И он знает причину: смотрит на него, а видит все время Володю родного сына. Ни на минуту не перестает трепетать от затаенной боли раненое материнское сердце.

Что нового в состоянии они узнать о Володе, пока в Орле оккупанты? Ничего, ровным счетом ничего. И все же на каждом свидании он задает вопрос: есть ли весточка от Владимира? А если сдержится и не спросит, они сами — отец, мать, Нина — начинают строить догадки: где Володя да что с ним, как воюет, как летает...

Временами Александру казалось, будто он и Владимир Сергеев родились и выросли в одной семье, бегали в одну школу, сидели за одной партой. Так в мыслях своих опять и опять он встречал его, как друга, с которым ел из одного котелка, спал под одной шинелью. Александр полюбил Володю и постоянно тревожился за его судьбу. Эта любовь и тревога с каждым новым свиданием сближали Гомзикова с Сергеевыми больше и больше. Что ни день, он все сильнее чувствовал: их семья — его семья.

Время окажется бессильным перед этим чувством. Отшумит, отлутует война. Люди снова привыкнут к небу без прожекторных лучей и разрывов снарядов, к окнам без светомаскировки, к земле, не изуродованной бомбоубежищами, траншеями и воронками. Далеко от Орла, в Вологодской области, поселится Гомзиков, вырастит своих детей. Но все так же будет он называть Ивана Сергеевича отцом, Татьяну Дмитриевну — мамой, а Нину Ивановну — сестренкой. На правах члена семьи разделит он с ними скорбь о Володе, не вернувшемся с войны. Гомзиков и Сергеевы станут слать друг другу письма, полные

душевного тепла. Они будут приезжать друг к другу в гости. И кто бы ни читал эти письма, кто бы ни наблюдал эти встречи, обязательно скажет: узы такой близости крепче иного родства по крови.

У противоположной стены палаты лежит Константин Синицын. Он тоже молчит, уставился в одну точку. Быть может, как и Гомзиков, взволнован мыслями о сердечной щедрости русского человека.

Гомзикова и Синицына выводит из задумчивости Григорий Чмыхало, рослый украинец с копной льняных волос на голове.

Этого молодца, родившегося в белостенной деревне среди вишневых садов Полтавщины, не сломали тюрьмы и концентрационные лагеря. Перед ним спасовала, как он уверял, даже сама смерть. Однажды заглянула костлявая прямо ему в глаза и тем ограничилась. Фашистские убийцы, затеявшие в лагере пленных кровавую охоту на коммунистов, не стали допытываться, коммунист ли он поверили ему «а слово и отвели дуло автомата от его затылка.

* * *

Седой худощавый старик с длинными нависшими бровями, старший врач лазарета в орловском лагере военнопленных Константин Витальевич Логунов остановил свой выбор на военфельдшере Чмыхало. Было это в тот день, когда, наконец, немецкая комендатура приняла «пять пунктов» Логунова и Светаева.

Эпидемиолог Георгий Федорович Светаев вел хитрую и крайне опасную игру.

Пленные считали его немецким наемником. Ведь он вьюном вертелся перед фашистами, угодливо болтал на их языке, а на русских грубо покрикивал, бросал взгляды свысока, в присутствии немца или полицая злобно ругался и, казалось, готов был пустить в ход кулаки. Раненые открыто презирали его. Они отворачивались, когда он обращался к ним или проходил мимо. Зато фашисты были в восторге от переводчика и лагерного врача Светаева.

Еще бы! Этот русский — гроссе культур, он получил образование в Мюнхенском университете. С ним беседовать — одно удовольствие. Он знал столицу Баварии, как свои пять пальцев. Как увлекательно он говорит о ее улицах, площадях, парках, памятниках старины! Он лично знаком с профессорами и преподавателями Мюнхенского университета.

Фашисты не могли знать, что Светаев никогда в Германии не бывал и всю жизнь прожил на берегу Черного моря, в любимой Одессе, там и встретил войну. Он лишь применял сейчас все то, что до войны читал о Мюнхене, интересуясь этим городом и по русской литературе, и по немецким источникам; что накопил потом, когда ем хорошо владеющему немецким языком, довелось участвовать в допросах пленных гитлеровцев.

Логунов и Светаев подбирали четырех носильщиков. Нужны были парни настоящие, чтобы не подвели: ведь им со временем удастся избавиться от опеки немецких конвоиров.

Константину Витальевичу приглянулся Чмыхало.

Когда Григорий в вечерний час был вызван к нему в камеру и по-военному четко доложил о себе, Константин Витальевич, улыбнувшись, надел очки в роговой оправе и указал на стул. Чмыхало сел и начал отвечать на вопросы: где родился, жил, учился, есть ли у него мать, отец, жена, где они, при каких обстоятельствах попал в плен. Потом доктор вышел из-за столика, приблизился вплотную и, строго всматриваясь в глаза собеседника, вдруг, резко понизив голос, ободряюще спросил:

— Комсомолец?

— Нет,— ответил Чмыхало, не решаясь открыть опасную правду.

— Я — советский врач. Мне можно и нужно говорить чистую правду!

Было это сказано так, что Чмыхало перестал колебаться:

— Я — коммунист.

— Таких мне и нужно,— голос и взгляд доктора потеплели. — Вот какое дело, молодой человек. Мы со Светаевым намерены дать вам поручение. Подберите звено

носильщиков — надежных ребят. Сами возглавьте его. На вашей совести будет переброска больных из лагеря в Русский лазарет. Если согласны, приступайте к исполнению, не мешкая.

Чмыхало подобрал надежных людей, стал во главе звена. Поначалу немецкий патруль не опускал с них глаз, неотступно шагал рядом. Но рослый украинец, командовавший санитарями, умел и рассмешить угрюмых конвоиров, и напугать их. Он не боялся тифозных вшей, которые, по его словам, целыми косяками ползали по завернутым в грязное хламье больным. Даже по такому поводу ухитрялся он отпустить на своем певучем языке одну остроту за другой. Но чем бесшабашней выглядел русский санитар, видать, ни во что ставивший свою жизнь, тем больший страх охватывал конвоиров. У них начинала противно зудеть кожа: казалось, ее уже грызли насекомые. А санитар снова и снова, как ни в чем не бывало, расписывал хватку вшей: уносят на тот свет просто так, будь ты русский или немец, солдат или офицер. Им наплевать, даже если ты в генеральском мундире и при высших наградах.

— Ловко мы с вами от них избавились,— оказал однажды Светаев Григорию, и тот понял, кого имеет в виду врач.— Теперь нам предстоит куда более сложное и опасное дело: начать переброску в Русскую больницу не только больных, но и здоровых. В первую очередь — летчиков. О деталях мы договоримся с главным врачом больницы Смирновым. Вы с ним знакомы. Так вот, пойдите сейчас к нему и скажите следующее: остановка теперь за документами на тех раненых, которых мы отправили; просим позаботиться об историях болезни да так, чтобы у немцев не возникли даже малейшие подозрения; остальное целиком берем на себя, пусть не беспокоится.

Гомзиков и Синицын всегда радовались появлению Чмыхало. Раз он в больнице, то можно не сомневаться; еще один товарищ вырван из-за глухой тюремной стены и находится среди своих. Но и это еще не все. Чмыхало — прямо тебе живая газета, ходячие «Последние известия». Он всегда приносил новости, которые хорошо дополняли информацию, получаемую от подпольщиков.

— День добрый, хлопцы-запорожцы! — приветствовал их Григорий, как обычно, по-украински.— Як наши справы? Що новенького?

И усмехался, многозначительно похлопывая себя по карману брюк,— жест, знакомый и понятный его друзьям; дескать, не с пустыми руками явился, есть чем порадовать. А если сам задаст вопросы, значит, хочет знать, все ли благополучно в больнице, не случилось ли в его отсутствие чего-нибудь такого, о чем они должны предупредить его.

«Полный порядок, все нормально,— отвечали они Григорию одними глазами, скупым жестом.— Со спокойной душой направляйся своей дорогой в Красный уголок. Мы будем начеку. Шагай себе, дружище, ни о чем не тревожься!»

Гомзиков и Синицын были осведомлены, для какой надобности медицинские работники собираются тайком в отдаленной процедурной комнатке. Они знали, почему сюда частенько заглядывал и Чмыхало, удостоверившись предварительно, что все его посещения известны только тем больным, на которых можно положиться.

И поэтому они, и все другие раненые, и — больные, пользовавшиеся доверием, ласково и гордо называли между собой ту дальнюю комнатку Красным уголком.

Григорий чуть-чуть запоздал. Беседа уже началась. Кто-то вполголоса читал сводку Советского Информбюро. Она была написана от руки. Еще по одному такому листку Чмыхало увидел в руках у Смирнова и Гусева.

В комнате стояла напряженная тишина.

После сводки огласили короткие сообщения о жизни в Москве и о том, как борется герой-Ленинград. Протопопов объяснил, что эти сообщения приняты по радио тут, в Орле.

— Было бы очень хорошо,— заключил Сергей Павлович,— дать ход листовкам дальше. Не ограничиться нашими пациентами, а подумать об их родных, близких. Вполне понятно, это должны быть верные люди.

Вручив палатной сестре Ане Шевляковой аккуратно сложенные листовки, Протопопов повернулся к Чмыхало.

— Вы нас и сегодня порадуете? — спросил он, улыбаясь и поглаживая бороду,—
Скорей же, скорей. Не томите!

— Точно так, товарищ военврач второго ранга,— весело ответил Чмыхало. И заключил по-украински: — Выкладаю все, що маю.

Он засунул руку в карман и извлек оттуда скомканные клочки газеты. Старательно разгладил их на коленях и стал прикладывать один к одному, как делает портной, собирая в единое целое разрезанные куски ткани.

- Все молча терпеливо ждали. Это было привычным: светловолосый весельчак военфельдшер не в первый раз превращался на их глазах в «портного». Из клочков, казалось бы, никому не нужной, годной лишь на обертку бумаги, он обязательно сложит если не целый лист, то часть газеты, издающейся там, за огненной чертой, на Большой Земле,— фронтовой или армейской, а если повезет, то даже «Красной Звезды», «Правды» или «Комсомолки».

Это был луч необыкновенного, ни с каким другим несравнимого тепла и света. Может ли получить представление о нем человек, не побывавший в их положении?

Много раз потом — уже в мирные, счастливые дни, вспоминая политчас на «островке»,— они убеждались: нет, не может!

Клочки мятой газеты из другого мира обойдут весь Красный уголок. Кто-то про себя прочитает несколько строк. Кто-то лишь взглянет затуманенными от слез глазами. Иной дрожащими руками прижмет к сердцу.

Такое не раз происходило и за тюремными стенами орловского лагеря военнопленных.

* * *

Стоял январь тысяча девятьсот сорок третьего. Гитлеровские армии откатывались на запад. На берегах, Волги, в предгорьях Кавказа, у стен Ленинграда — над всей страной, от севера до юга, всходило солнце нашей победы.

И в Орле оккупанты чувствовали себя неуверенно, нервно. Фашистские чиновники торопились отправить подальше в тыл свои семьи с награбленным русским добром. Да и сами при первом удобном случае норовили убратся вслед за ними. Не тот был теперь и немецкий солдат, еще вчера в дурмане легких побед мнивший себя непобедимым. Поубавилось спеси и у офицеров. Злобствовали предатели, полицаи, жандармы, всякого рода наемный сброд оккупантов. Но и они дрожали от страха: возмездие могло грянуть внезапно и неотвратимо.

Все это не ускользало от глаз узников орловского лагеря военнопленных. Фашисты обрушивали на своих невольников поток «совершенно достоверных» сведений о «неслыханных победах Германии и поражениях России». Все было пущено в ход: специальные радиопередачи, газеты, плакаты, листовки, над которыми, не жалея сил и средств, трудились немецкие пропагандисты. Принудительные лекции и «просветительные занятия» следовали нескончаемой чередой. Гитлеровцы направляли в лагерь власовцев, которые распинаясь, доказывая, что там, на востоке, у русских вот-вот все развалится.

Но не дремали и пропагандисты лагерного подполья. На вооружение были взяты газеты, которые находили в карманах у раненых при их переноске, особенно у летчиков, только что сбитых и плененных гитлеровцами. Ведь наши парни всего лишь несколько часов назад были там, за линией фронта.

Чмыхало в радостном волнении бегал по камере.

— Дима, Миша, Ваня! — звал он друзей.— До мэлэ, хлопчики, швыдше, швыдше!..

Те в недоумении посматривали, как сияющий Григорий прижимал к груди какие-то листки.

— Что случилось?..

— Откуда у тебя наша газета?

— Зараз, зараз все расскажу. А перво-наперво давайте почитаем.

Григорий садится на холодный пол камеры в тесном кружке нагнувшихся к нему товарищей.

— Вот— бачитэ?..

Григорий держит обрывок газетного листа. Сохранилось название «На разгром врага» и дата ее выпуска. Все видят заголовок передовой статьи о городах-героях и мысленно переносятся на их улицы и площади.

В верхнем углу другого листа — кусочек интересного сообщения. Чмыхало читает его вслух.

— Бейте их, гадов! — говорит кто-то внятно, но тихо, чтобы не услышала охрана за дверьми камеры.

Другой, также, не повышая голоса, подхватывает:

— Вырвемся мы из этого ада, поможем вам, браточки! Вместе уничтожим бандитов!..

Чмыхало бережно прячет кусочки газеты в карманы. Ее должны прочитать многие. Она обойдет не одну камеру. Те, кто увидит эти дорогие лоскутки собственными глазами, перескажут потом слово в слово другим, а они, в свою очередь, понесут радостную весточку с родной земли еще дальше, по всему лагерю.

Константин Витальевич говорил Григорию:

— Это великолепно! Это просто замечательно! Ты внимательно следи за прибытием новичков. Газеты, конечно, само собой: каждый клочок береги. Приноси их сразу ко мне. Будем вместе читать товарищам. Ты расспрашивай обо всем новичков. Узнавай, что только можно, о делах на фронте и в тылу. Мы с тобой расскажем об этом в палате, особенно тяжелобольным. Их нужно поддержать в первую очередь. И не только средствами Медицины. Духовные инъекции эффективнее всяческих лекарств.

И вот Чмыхало опять стучит в камеру врача.

— Кто там? А-а, это ты, Григорий! Входи, входи... — слышится за дверью усталый голос пожилого человека.

— Здравствуйте, товарищ военврач! Я принес... — докладывает Григорий,— Разрешите? — он засовывает руку в карман.

— Что же ты тянешь? Давай, давай скорее! — в нетерпении поднимается ему навстречу Логунов.

Константин Витальевич торопливо надевает очки и углубляется в чтение фронтовой газеты. На лице его вспыхивает улыбка.

— Здорово! Ай, да молодцы! Бьют фашистов на всех фронтах... Ну, что ты на это скажешь?

Григорий ответил не сразу.

— Я вот о чем хотел с вами посоветоваться, Константин Витальевич. Не раз ко мне приходила эта мысль... Чому мы з вами нэ там?!

— Говори, говори!

— Может быть, нам отсюда податься через фронт или к партизанам? Чого ще чекаты? Пора нам, а? Як вы гадаетэ?

Врач нахмурился.

— Бежать, говоришь? Бежать сейчас нам с тобой отсюда — это, если хочешь знать, эгоизм. Раз уже так случилось, что мы не в действующей армии, то обязаны помнить: и здесь — фронт. И вот это — тоже... — Он поднял «а ладони измятые клочки газеты. — Это тоже оружие... А раненые? Отбить их у смерти в этом аду — это тоже победа. Настанет час, и они опять пойдут на врага. И мы с тобой пойдём, Григорий.

Чмыхало внимательно слушал, не перебивая. — Григорий, милый ты мой полтавский хлопец,— ласково заключил Константин Витальевич, — Не отчаивайся. Мы с тобой еще будем фронтовиками, повоюем и отомстим за все.

Чмыхало продолжал свое опасное и благородное дело.

Ему помогали орловец Михаил Зубков и Дмитрий Кузьмин.

Только что привезли раненых. К ним спешит Зубков, ему Чмыхало поручил добывать газеты.

— Ну, что там? — спросил друга Григорий, когда тот вернулся в камеру.

— «Звездочка»! — Зубков сиял. — Целая «Красная Звезда»!

— Дуже добре! Где же она?

— Пошла из рук в руки. Потерпи немного, дойдет и до нас. Каждому ведь хочется прочитать.

Чмыхало забеспокоился:

— Это надо робить дуже обережно, не попала бы к доносчику на строгом учете. Их она обойдет. Ничего гады не пронюхают.

Вечером в камеру, где содержались Чмыхало и Зубков, — все ее обитатели были испытанными друзьями, людьми с незапятнанной совестью, — принесли долгожданную газету. На ней стояла совсем недавняя дата: 21 января 1943 года.

— Сколько лет сам писал в газету, а никогда и представить себе не мог, какая могучая сила заключена в простом печатном слове, — говорил, волнуясь Зубков. — Читаешь и забываешь, что ты в неволе, а в голове у тебя одно: Родина, твой долг перед ней.

Чмыхало и Зубков поочередно читали вслух.

Но зимний вечер короток. Вот уже в камере полумрак уступил место темноте. Ущербная луна не спасает положения; окошко узенькое, зарешеченное. Чмыхало напрягает зрение, некоторые слова и даже строки произносит наугад. Придется ждать утра, ничего не поделаешь.

— Стойте, стойте! — воскликнул парень из угла камеры. — Не мучайтесь, братцы, сейчас включим «освещение».

Он разорвал немецкую газетенку — одну из тех, которыми оккупанты старались отравить сознание пленных, — сделал из нее длинные полоски, чиркнул спичкой и стал по очереди жечь их. Призрачный свет, дрожа, забродил по напряженным лицам. Все сгрудилось вокруг него. Чмыхало и Зубков, поднося газету к сгорающим полоскам бумаги, чередуясь, продолжали чтение.

— А ну-ка повтори, как там про Ленинград написано, — попросил парень.

— Зачем повторять?

— Уважьте, ребята, я ведь коренной ленинградец... Прочти, браток, еще.

Снова перечитывается сообщение с Ленинградского фронта.

— Блокада прорвана. Понял? — поворачивается Зубков к ленинградцу.

— Ура, ребята!.. Ура-а! За мой Ленинград! — не повышая голоса, почти шепотом восклицает тот.

— Дывьись, — останавливает его Чмыхало, — ось тут як раз для тэбэ подарунок — статья Николая Тихонова «Город Ленина». Уважно послухай и не дуже шуми.

Снова чтение вслух.

У всех такое ощущение, будто доблестные ленинградцы находятся уже здесь, возле орловской тюрьмы. Вот они, твои братья, рядом; протяни им руки, обними их расцелуй! Они стояли насмерть у стен легендарного города и ради твоего спасения, и за твою жизнь, свободу, за твою честь.

Узников охватывает восторг. Кто-то тихо-тихо запел. Так же тихо, но дружно, песню подхватывают, величавую, зовущую на смертный бой с миром насилия и зла.

Несгибаемые русские люди поют «Интернационал».

* * *

После «политчаса», на обратном пути из Красного уголка, Чмыхало вновь заглянул к Гомзикову и Синецину. А когда стал прощаться с ними, еще раз спросил:

— Выходить, так-таки нэма ничего новэнького?
— Да нет, все вроде бы по-старому,— ответил Гомзиков.
— А новая сестра? — приподнялся на подушке Синицын.
— Что в ней особенного? — возразил Гомзиков.— Сестра как сестра. Старается.
— Слишком даже старается, И не в ту сторону,— сказал Синицын.— Не нравится мне она. Уж больно любопытная. От меня не отходит. Спрашивает про одно да про одно, словно заведенная.

— Новая сестра — також новына,— вроде бы безразлично произнес Чмыхало, припоминая, был ли среди собравшихся в Красном уголке кто-нибудь посторонний. Нет, он уверен: не было-

— Ее как звать? И яка вона из сэбэ?

— Марусей звать. Молоденькая, чернявая. Глазами, как бильярдными шарами, пуляет во все стороны. Шустрая,— сообщил Гомзиков.

— Что шустрая и глазами стреляет, это точно, ничего против не скажу,— согласился Синицын.— Очень даже шустрая и нос свой сует, куда ей не следует... Нет, как хотите, а мне она не по душе!

— Все понятно, вопросов больше не маю. Парубки вы, в общем и целом, что треба. Вот она и липнет до вас. Звычайнэ дило. И чога злякальсь? А, впрочем, смотрите в оба. Ну, бывайте здоровеньки, друзи,— поднялся он и пожал руки летчикам.

Видно было, что Чмыхало стремился все обратить в шутку.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Когда Маруся Павлович осталась, наконец, одна, перед ней с отчетливой ясностью возникло все, что было так недавно, что ушло теперь далеко-далеко и, может быть, навсегда.

Аэродром, куда их привезли на тряской, продуваемой всеми ветрами полуторке, находился за городом. В стороне от него, обрамляя поле, укрытое снежной пухлой пеленой, смутно прорисовывался лес. Аромат хвои долетал с его стороны в ту ночь с особенной силой, будто для того, чтобы сейчас, здесь, сохраниться в ее памяти. Они вдыхали бодрящий запах полной грудью, короткой цепочкой торопясь к самолету.

И вот стремянка, поднявшая десантников в кабину, убрана. Дверь захлопнута. Вздвух колючую пургу, заревели моторы. Толчок... Еще толчок — и они уже в воздухе.

Все сразу приникли к иллюминаторам.

Маруся старалась разглядеть, как пронесется под крылом та огненная черта, за которую уйдет неведомо на какой срок земля, родная, надежная, приветливая... По той земле можно ходить, как ходят все люди, не опасаясь ловушки, засады, выстрела из-за угла, плена или смерти.

Да, да, смерти. Смерти в двадцать лет...

Только сейчас, в самолете, когда уже ничего нельзя было изменить, Маруся вдруг во всей ясностью, со всей отчетливостью поняла, куда и зачем уносит он ее, погасив бортовые огни.

Ничего не случится, все будет хорошо, — внушала она себе, стараясь заглушить сомнения.

Маруся оставалась о непоколебимой уверенности: немцам никогда, сколько бы они ни старались, на какие бы муки ее ли обрекли, не узнать, что она комсомолка, прошла специальную разведывательную школу для действий в тылу врага и заброшена сюда со специальным заданием.

О, как ей хочется увидеть нашу победу, познать счастье возвращения с войны, обнять маму, сестренку... Там, на земле, от которой она теперь отдалена ничем не измеримым расстоянием, ее ждет любимый.

Нет, она не изменит клятве, не предаст. Снова и снова, даже если впереди еще десять допросов, она не перестанет твердить одно и то же: она, Люда Смирнова, заблудилась в лесу,

ни о каких партизанах понятия не имеет. Револьвер? Зачем ей револьвер? Должно быть, кто-то обронил его в лесу, а она прошла рядом. Вот откуда там следы ее ног...

Ничего другого фашисты от нее не узнают, как бы ни били, ни истязали. И этот, длинный, жердеобразный, с лапами душителя. Он только задавал вопросы и приказывал своему исполнительному помощнику хлестать ее по лицу.

Зря старается его подручный, сытый, раздавшийся на русском сале обер-лейтенант. Он наверняка прикончил бы ее за упрямое повторение одной и той же легенды, которая противоречит уликам, избобличающим красную разведчицу.

... Длинный ленивым жестом вдруг остановил своего помощника.

— Довольно вам, Хиндель. Чего пристаёте к девчонке? Везде вам мерещатся партизаны. Ну шла по лесу, ну заблудилась... Почему обязательно это должен быть ее револьвер?

— Слушаюсь, герр гауптман! «Неужели поверил?»

Капитан откинулся на спинку кресла, огромным платком вытер вспотевший лоб. Хиндель стоял перед ним, застегивая запонки на манжетах. Он откатал рукава сорочки с явным сожалением: не мешало бы еще «порасспросить» большевичку.

— Слушайте, Хиндель, не будем требовать от нее того, чего на самом деле, вероятно, нет. Проверим, кто она есть в действительности. Подержим ее пока в тюрьме, а потом одно из двух: либо выпустим на все четыре стороны, либо вздернем на перекладину. Вот и все.

Капитан беседовал с обер-лейтенантом так, словно Маруси не было рядом с ними.

«Неужели не догадывается, что я понимаю по-немецки?.. Значит поверил? Сегодня, кажется, поверил, а завтра?..»

— Слушаюсь, герр гауптман,— подобострастно ответил толстомордый. На все пуговицы застегнув китель, он стоял перед своим начальником, вытянувшись по швам.

Маруся металась по полутемной вонючей камере.

Жить, жить, жить! Вырваться отсюда и встретить товарищей, друзей, которые ждут ее в лесной, утонувшей в снежных наметах землянке. Вероятно, уже отстучали радиоключом на Большую Землю, что Маруся Павлович не вернулась с задания. Милые, дорогие вы мои, спасите, спасите! Не дайте погибнуть!

Да разве им под силу ее спасти? Она сама должна о себе позаботиться. Сама, только сама. Но что ей сделать, чтобы эти мрачные стены расступились?

Маруся, обессилев, перестала метаться по камере. Машинально поправила на себе в ключья изодранную, покрытую бурыми от крови пятнами одежду и опустилась на слежалый, грязный ком соломы в углу. Он заменял тут и матрац, и кровать, и подушку. Хорошо, что ватную куртку тюремщики не отняли.

Вдруг она вскочила и, вся дрожа, прижалась к стене. Слышно было: в замке кто-то поворачивает ключ. За ней?

Тяжелая дверь медленно, с хлещущим по нервам скрежетом отворилась. В освещенном из коридора проеме появилась девушка. Она еле держалась да ногах. Лохмотья одежды, свисавшие с ее узких и острых плеч, не могли скрыть кровоподтеков и синяков. Солдат, державший ее сзади, толкнул девушку так, что она покачнулась и, выбросив руки вперед, перелетела через порог, рухнула на пол, почти у ног Маруси. Дверь камеры захлопнулась,

Они остались вдвоем. Маруся уложила девушку на солому, поднесла ей воды, укрыла своим ватником. Та постонала, пометалась и успокоилась,

Казалось, она дремлет, Маруся оперлась спиной о холодную, скользкую стену и тоже устало закрыла глаза. Но тут же кто-то встряхнул ее. Девушка сидела перед ней. В мутном свете грязной лампочки, ввинченной высоко под потолком и забранной сеткой, незнакомка выглядела маленькой и беззащитной. Но в глазах ее Маруся прочитала решимость.

- Тебя как зовут? — шепотом опросила девушка. Люда Смирнова.

- А за что ползла сюда?

- Да ни за что, по глупости, А ты кто?

- Не, догадалась? Партизанка из брянского леса. Зиной Петровой зовут. В город на явку шла. Схватили меня гады... Не падай духом, подружка, выберемся мы с тобой отсюда, слышишь? Выберемся!.. Я им ничего не сказала. Товарищей своих не выдала. Мне бы только продержаться дня два-три. Меня спасут... Так обещал командир, когда посылал на задание. Мне устроят побег. В тюрьме имеются наши люди...

— А меня и так выпустят. Я же ни в чем не виновата.

- Ну, ты еще их плохо знаешь! Виновата - не виновата, а отсюда не выберешься. Вон как тебя расписали,

Маруся задумалась, взвесила свое положение: может быть, это как раз и есть та возможность, которой нельзя пренебречь?

Маруся колебалась недолго. Свобода, еще минуту назад казавшаяся недостижимой, замаячила впереди. Только бы этот свет не угас! Да, да, вот она, единственная, наверняка последняя, возможность проникнуть сквозь глухие, толстенные стены. От кого ей таиться, от своей, от партизанки?!

Маруся все рассказала о себе, Обнявшись, они долго плакали и говорили друг другу о своей молодой жизни, которая может вот-вот оборваться, о высшем благе человека — не знать неволи, о свободе, которая придет к ним завтра ночью. Какое это будет счастье!..

На рассвете дверь камеры отворилась. Гремя ключами, тяжело переступил порог надзиратель. На Марусю он даже не взглянул. Крикнул ее соседке:

— Выходи!

И вытолкнул ее в коридор, не дав девушкам проститься.

Больше они никогда не встречались.

Через несколько часов Марусю Павлович привели на допрос.

Капитан Купавка был, как всегда, спокойным и уравновешенным. Не повышая голоса, сильно картавя, он изъяснялся по-русски.

— Ну, так что ты нам теперь скажешь? — спросил он Марусю.

— Я уже все сказала...

— Все? Ты что же, принимаешь меня за безмозглого кретина?— Он откинулся на спинку кресла. — Ну, так вот, слушай внимательно, Маруся Павлович, мы знаем, кто ты такая.

И он, как бы вернулся с ней в лес, к потайной землянке, все там высмотрел, все разведal. Потом он шел след в след за ней, когда она, сжимая в кармане шершавую рукоятку нагана, отправилась на пост наблюдения у опушки, где стерегла ее засада...

Она сидела ошеломленная, а Кукавка говорил и говорил о ней. Откуда ему все известно?

И тут с глаз ее словно сдернули пелену. Нет, нет, не может быть! Это чудовищно! Почему соседка по камере не возвратилась? Когда ее увели? Несколько часов назад. Куда и зачем? Вполне достаточно времени, чтобы привести сюда; все, мол, в порядке, господин капитан, рыбка клюнула, можете тянуть удочку.

Подлецы! Бессильные выведать у нее хоть что-нибудь на допросах, вот на что они пошли!

— Присаживайтесь, Маруся,— капитан встал, вышел из-за стола и сам придвинул ей стул. Не спеша возвратился на свое место.— Вы умная девушка и наверняка поняли: песенка советской разведчицы Павлович спета.

Маруся молчала. А что говорить? Крючок крепкий. Все кончено.

— Вы в наших руках,— продолжал капитан.— Мы можем вас немедленно послать на виселицу. И это будет вполне справедливо. По законам войны, по законам защиты Германии и ее великого дела. Но не отчаивайтесь, Маруся, не прощайтесь с жизнью, есть для вас спасение. Я его хочу вам предложить.

Маруся молчала.

— Я хочу предложить вам жизнь и свободу...

Она вскинула на капитана взгляд, в котором читалось недоумение.

— Ну нет,— он снисходительно засмеялся, — не такую свободу, какую хотелось бы вам получить. Я имею в виду свободу, которую вы должны заслужить.

— Чего вы от меня добиваетесь? — упавшим голосом спросила Маруся.

— У вас нет выбора. И поэтому не следует задавать вопросов. Так вот: вы останетесь жить, только если будете выполнять определенные задания. Короче: из разведчицы советской вы станете разведчицей немецкой. Только и всего.

Маруся вскочила. Это невысказано. Это гнусно — то, что он ей предлагает. Да как он смеет!?

Но смерть стояла за спиной. Неотвратимая, неизбежная, а Маруся хотела жить, жить во что бы то ни стало.

— Да...— через силу выдавила она сквозь зубы и низко опустила голову.

— Ну, вот и отлично. Я не сомневался, что благоразумие возьмет верх «ад безрассудством. А теперь поговорим о деталях...

Знала ли она, та «наседка» (так называли провокаторов, специально подсаживаемых в тюремные камеры к особенно неподатливым узникам), что в ту ночь не только выудила у Павлович признание, но и преподала ей наглядный урок будущей службы немецкой контрразведке? Маруся никак не ожидала, что немцы проверят ее точно на таком же задании. И еще больше поразила ее теперь уже не Кукавка и Хинделю, а самой себе, глубине своего падения, когда у нее «получилось».

Ей было омерзительно, она внутренне кляла себя и презирала. Но спасения не было: либо она сделает то, чего от нее хотят, либо сама себе подпишет смертный приговор. И страх смерти пересилил все другие чувства.

— Сработали вы добросовестно,— похвалил Марусю Кукавка, когда она явилась поутру, отсидев в камере с девушкой, доверившейся ей, как когда-то она доверилась другой.

— Мы вам теперь доверяем,— продолжал капитан, жестом разрешая ей сесть.— Отдыхайте дней пять, можно даже всю неделю. Купите себе приличную одежду. Об этом и обо всем прочем, в том числе и о вашей безопасности, позаботятся. Да, кстати, вам не приходилось работать медицинской сестрой?

Нет, медицинской сестрой она никогда не была, но умеет делать перевязки. Прошла краткосрочные курсы.

— И этого вполне достаточно, — сказал Бено Кукавка и благосклонно кивнул головой.— Можете идти.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Март сорок третьего, чересчур снежный, предвещал бурное таяние снегов, а значит, и могучий разлив Оки. Весной она так раздается в берегах, что ее не узнать.

Половодье надвигалось не только в природе. Оккупанты старались скрыть от орловцев положение на фронтах, но улки короткие ноги.

«Везде бьют вас, проклятых, русские люди, везде гонят прочь с родной земли. Скоро и мы дождемся своего избавления. А там, даст бог, отзовется и Володя. Хоть бы весточку от тебя, сынок, получить, хоть самую малую... А там и Саша сможет, наконец, дать знать о себе отцу и матери. Небось истосковались, истревожились...»

Так думал Иван Сергеевич Сергеев ранним утром по дороге в Русскую больницу. Он наведывался теперь туда не только в дни, отведенные для свиданий.

Сергеев прошел в глубину двора, стороной обойдя маршировавших солдат. Отряхнув с валенок мокрый снег, он отворил дверь.

Деловито сновали мимо Сергеева сестры, санитарки.

В глубине коридора показался Борис Николаевич Гусев. На его высокой фигуре поверх зимнего пальто топорщился застиранный старенький халатик.

Борис Николаевич шел навстречу задумавшись, торопливее обычного.

Сергеев поспешил к нему и, когда их глаза встретились, приветливо улыбнулся хирургу.

— Доброе утро, Борис Николаевич!

Странно... Неужели Гусев не услышал, или не узнал его? В самом деле, смотрит так, будто перед ним пустое место...

Густые нависшие брови хирурга вдруг поползли вверх. Всегда приветливые, с добродушной хитринкой глаза на этот раз уставились на Сергеева с неприязнью.

— Кто пускает в больницу посторонних!? Это же безобразие!.. Сколько раз я должен предупреждать!?..

И прежде чем Сергеев успел сообразить, кто здесь посторонний, Борис Николаевич широко шагнул к нему, ухватил за рукав и потянул к выходу.

Потом он стал толкать Сергеева в спину, покрикивая:

— Это больница, да, да, больница! Пора бы знать! Посторонним вход воспрещен!

Подталкиваемый Гусевым к выходу, Сергеев почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он повернул голову. У стены стояла незнакомая сестра, худенькая девушка с большими черными глазами.

Борис Николаевич вытолкнул Сергеева на площадку, и за его спиной со стуком захлопнул дверь.

«Борис Николаевич, что это с вами? Дорогой мой, откуда вдруг такое «гостеприимство»? — хотел крикнуть Сергеев.— Чем я его заслужил?».

Он не мог уйти, ничего не выяснив.

Выждав немного, Иван Сергеевич настойчиво постучал в дверь костяшками пальцев.

— Сейчас, сейчас! И зачем людей беспокоить? — отозвался знакомый голос Сырцевой.

Дверь приоткрылась.

— Нельзя, понимаете: нельзя!

— Да что вы, в самом деле, с ума посходили? — возмутился он.— Объясни же, Надя, толком!..

Рослая Сырцева загоразивала полуотворенную дверь, но Иван Сергеевич все же разглядел за ее спиной в коридоре черноглазую незнакомку в белом халате. Она наблюдала за ними и прислушивалась.

— Я же объяснила. Сколько раз уже вам говорилось: свидания у нас по воскресеньям, от двенадцати до трех. Неужто трудно запомнить? Лезут без спросу...

Она захлопнула перед ним дверь. Стали слышны ее удаляющиеся шаги.

Иван Сергеевич окончательно растерялся. Что-то, безусловно, случилось. Ведь они всегда были рады его приходу. А тут выставили, да еще как! Нет, неспроста все это...

Он брел домой, теряясь в догадках, строя всяческие предположения, задавая себе вопрос за вопросом и не находя ни на один из них вразумительного ответа.

Да и как было ему разобраться, если он не имел понятия о том, что произошло в больнице за последние дни.

Не знал он ничего о разговоре Чмыхало с Вениамином Александровичем Смирновым.

В тот день после «агитчаса» Григорий, прежде чем возвращаться в лагерь, заглянул к главному врачу. Они сели рядом у письменного стола, поставленного в угол, у окна, которому служила занавеской желтоватая, дырявая марля.

— Что-нибудь неприятное, мой друг? — мягко произнес Смирнов.— Неужели с транспортировкой непредвиденные осложнения?

— Що вы, що вы, Вениамин Александрович,— успокоил его Чмыхало.— 3 переноскою все в порядке. Я про сестру...

И он рассказал о подозрениях, которые вызвала у Синицы на «новенькая».

— Значит, не я один почувствовал червячок настороженности,— ответил Вениамин Александрович.— Вы знаете, как только она пришла, что-то во мне словно ошетинилось.

С виду девчонка милостивая, скромная. А вот не по душе. Объяснить, чем именно, не могу, но вызывает этакий рефлекс самозащиты и все.

— Она до вас сама зъявилася, чи хто прислал?

— Тут-то и есть первая загвоздка, друг мой. Чего ради пришла она не сама, как скажем, Надежда Сырцева? Не поинтересовалась сначала нашей больницей, что у нас да как, нужна ли она здесь, может ли быть полезной. И еще вопрос: почему обязательно в хирургическое отделение? Может быть, мы порекомендовали бы ей что другое. Явилась и прямо на стол бац — направление Городского здравотдела: предписывается нам взять ее хирургической сестрой.

— Не такой страшный чертяка, як его малюют, Вениамин Александрович. Ну и що з того? Она могла действовать не як Сырцева: пишла и видразу взяла напрашление. Мабуть, гадала, краще будэ.

— Да и я подумал бы так, если бы не дальнейшее.

— А що було дали?

— А дальше было вот что. Приняли мы ее гостеприимно, растолковали обязанности, все прочее- И, само собой, в тот же день показала она себя на практике...

— Понятно...

— Мы с Сергеем Павловичем обо всем договорились, и он устроил лучшим образом: новенькая должна была помогать ему в перевязочной одна. Негласный, незаметный для нее экзамен в некотором роде.

— Ну и як? — Григорий выражал нетерпение.

— Да так, что Сергею Павловичу стало яснее ясного: никакая она не медицинская, тем 'более не хирургическая сестра: едва управляетя с самой элементарной перевязкой. Ни опыта у нее, ни знаний. И тут перед нами встал естественный вопрос: почему же, в таком случае, городской здравотдел направил ее к нам с таким категорическим предписанием?

— Да-а... Все это дивно, дуже дивно.

— И вот теперь ваше сообщение. Я знаю: Синицын— парень наблюдательный, умный. Зря словами не бросается.

— А вы як гадаете, Вениамин Александрович, почему — Синицын?

— Фашисты не младенцы. Они были в состоянии понять: Синицын старался сбить их с толку. Вот и весь секрет.

— Но они же ему про це не говорили?

— Обер-лейтенант достаточно хитер. Сделал вид будто удовлетворен допросом. А что он думал на самом деле, мы можем лишь догадываться. Вот и сопоставьте все это с поведением новой сестры, с ее чрезмерным интересом к Синицыну. Не значит ли, что она старается добиться от летчика того, что не смогли они получить на допросе?

— Понятно, понятно... Яке було ваше решение?

— Пока что решили быть бдительными, держаться с ней весьма осторожно. Все работники предупреждены.

Вениамин Александрович горько улыбнулся. Дескать, ничего не поделаешь, друг мой, нужно изворачиваться, говорить одно, а думать и делать другое.

— Борис Николаевич получил указание,— продолжал Смирнов,— посещения больницы «посторонней публикой» прекратить и сделать это, так сказать, демонстративно. Для новенькой. Она ни о чем не должна догадываться — ни о «родителях» Гомзиков, Синицына, Воломийченко, ни о частых передачах и всякой другой поддержке раненых, ни о состоянии их здоровья. А тот ясе Сергеев способен по неосторожности такое сказать— Кеды не оберешься! «Посторонние» приносят сюда не только продукты питания, но и духовную пищу... Самое сильное лекарство. И самое для всех нас опасное, если проведают о нам немцы.— Смирнов еще ниже опустил плечи, будто на них давила тяжесть.— Смотрите, чтобы она не проведала о листовках, о газетах. Да и с транспортируемыми будьте вдвойне осторожны. Пожалуй, я рекомендовал бы вам ей на глаза вовсе не попадаться. Ну, а если волей-неволей встретитесь, то к своей ноше ие подпускайте.

Не знал Иван Сергеевич и о другом разговоре.

Случилось это в вечерний час, когда закопченные, тесно уставленные койками холодные палаты погрузились в тревожный, неровный сон.

Синицын не спал, лежал с открытыми глазами в подавленном настроении.

Какого черта прицепилась к нему эта новая сестра? Что ей от него нужно? Вчера принесла кусок поджаристого, очень вкусного пирога. Говорила, что сама испекла. Где, спрашивается, она взяла такую белую муку? Откуда у нее сахар, масло, яйца? Объясняет, по случаю купила у какого-то фрица. Врет она все. Не иначе — от немцев получает. Она и шоколадом его угощала, целую плитку сунула. К черту ее угощения! Он принимал их, чтобы не показать, что видит ее насквозь.

А вдруг он ошибается? Вдруг прав Саша Гомзиков: она сестра как сестра, старательная, заботливая, даже слишком заботливая в отношении его. Может быть, Синицын ей дорог и нужен?

Вот-вот, дорог и нужен, точные слова! Потому-то и задает она вопросы об аэродроме, о тех местах, откуда он летал. Какого черта лезет она именно туда, куда лезли немцы, допрашивая его? Не торопись с выводами.

Может быть, и случайное совпадение. Ведь спрашивает вроде бы так, между прочим. Э, нет, его не проведешь. Совсем не между прочим, а весьма настойчиво и, чувствовалось, подготовление. Он уходил от ответов, переключал разговор на другое. Но она гнула свое. Опять — аэродром, откуда он летел в ту ночь, когда был обит, опять — самолеты, командир части, настроение летного состава. Он в конце концов не выдержал и резанул: «Слушай, Маруся, на что тебе сдался штаб воздушной армии?» Она засмеялась, но смех получился натянутым, неестественным: «Просто из любопытства спрашиваю. Ты что — боишься? Ну, не буду, не буду, успокойся!»

Это было вчера. А сегодня Маруся Павлович старалась к нему не подходить. Ага, 'подействовал, значит, его прямой вопрос.

Но тут ему бросилось в глаза другое: Маруся вертелась возле койки, на которой лежал летчик, доставленный к ним с тяжелым ранением неделю назад. Вроде бы ничего удивительного: долг сестры больше печься о тех, кто еще не пошел на выздоровление. А тот парень был именно таким. Но ведь в еще более тяжелом состоянии, чем он, находился другой новичок—обгоревший водитель танка. Почему же она к нему почти не подходит, все норовит присесть к летчику? Его она тоже угощала, задабривала, старалась расположить к себе. Выходит, опять совпадение: во-первых — летчик, во-вторых — к нему не раз наведывались немцы и он отвечал на допросах по рецептуре Сергея Павловича Протопопова. Вот тебе и «простое любопытство». Ну, нет, в этом увлечении авиацией была, как ни верти, закономерность. Неужели ее подослали? Ах, подлая тварь!

Он остановил Марусю, когда она проходила мимо.

— Сестрица, подай водички!

Она выполнила просьбу быстро, но молча.

— Что ж ты мне не задаешь больше вопросов? — возвратив ей стакан, опросил Константин.— Обиделась?

В полумраке не видно было выражения ее глаз, но он чувствовал: они смотрели на него, не мигая.

— А ты как думал? Обидел ты меня очень, Синицын,— сказала она.— Я не заслуживаю.

— Хотел бы поверить и попросить у тебя прощения,— ответил он и замолк: Маруси возле койки уже не было.

Был еще один разговор — прямой, без утайки. Но это позднее, уже после того, как Иван Сергеевич ветрелся, наконец, с Гусевым, и тот, все ему объяснив, наказал: в больницу теперь должна приходиться только Татьяна Дмитриевна, да и то с строго определенные дни и часы.

Дежурила в хирургическом отделении Дарья Михайловна Лифинова. Была глубокая

ночь. Вдруг — стук в дверь.

— Кто там?

— Откройте, тетя Даша,— свои...

— Какие свои, если ночь и своих никто на улице не пропустит?

Лифинова намекала, что в ночное время мимо немецких патрулей не пройти.

— Да это я. Откройте, не беспокойтесь. Маруея Павлович...

— Вот те на-а! — удивилась Дарья Михайловна, отворяя дверь,— Как же ты ухитрилась через весь город пройти? Или подъехала на чем?

Маруся попыталась уклониться от ответа. Но Дарья Михайловна настаивала. Она после первой их встречи не спускала глаз с этой девушки и чем дальше, тем все больше убеждалась: не по той дорожке идет новая сестра. Поначалу не поверила, чтобы вот такая и шпионила. Но держалась с ней осторожно, как и все работники

больницы. Знала: шила в мешке не утаишь. А «мешок» был тут весь на виду, его просматривали, прощупывали

вдоль и поперек. Вид, одежда, повадки, неестественные жесты, неправдивые слова, глаза, вдруг убегающие от прямого взгляда,— все выдавало Марусю перед пожилой, неторопливой, но основательной в выводах Дарьей Михайловной.

Лифинова стала искать случая поговорить с Марусей откровенно, все выяснить. И вот такой случай сейчас представился.

— Ну, рассказывай, откуда ты? — спросила Дарья Михайловна.— Где вечер проводила, с кем? А если — из дома, то, как через город прошла? Нечего в молчанку играть.

— Да что вы выдумываете? Нигде я не была. Весь день в больнице, никуда не отлучалась.

— Почему же я тебя не заметила? Ну ладно, допустим... А где ты пропадала сейчас, ночью?..

— В подвале,— сказала Павлович первое, что пришло ей в голову,— вздремнула от нечего делать.

Такая нелепость не нуждалась в опровержении.

— Знаешь что, девка,— Дарья Михайловна погрозила ей пальцем.— Не тем делом ты занялась. Слушай, что я тебе скажу. Придут наши — какими ты глазами на них посмотришь? Что ты им скажешь? Ведь опросят, обязательно спросят про все. Не уйдешь от ответа.

Маруся молчала, стоя вполоборота к Дарье Михайловне, низко опустив голову. Нервно мяла пальцами шелковый платочек.

— Ну, чего молчишь? — Дарья Михайловна повернула Марусю лицом к себе.— Говори ж что-нибудь!..

— А что мне говорить, тетя Даша? — упавшим голосом ответила Павлович. — Плохо будет мне, когда придут наши. Так плохо, так плохо...

Она вдруг резко отвернулась и прижала ладони к лицу.

Дарья Михайловна положила Марусе руку на плечи. Почувствовала: оно вздрагивало от сдерживаемых рыданий.

— Слушай, дочка, образумься, пока не поздно. Есть еще время...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Капитан Кукавка был терпелив. Или, скорее всего, его отвлекали другие заботы. Да, сейчас хватало ему забот. Положение на фронте становилось все более критическим, а в тылу, в брянских лесах, да и здесь, в городе, почва под ногами оккупантов горела и колыхалась.

Так или иначе, он только раз пригласил Марусю к себе. Времени у него было в обрез, обстоятельная беседа не состоялась. Начальник контрразведки лишь задал несколько

вопросов: как встретили ее в больнице, удалось ли наладить отношения с летчиками, как ведут себя Синицын и Гомзилов, особенно Синицын, подчеркнул капитан. Купавке не давал покоя Ширман, то и дело, напоминая, что место дислокации штаба воздушной армии, действующей на Брянском фронте, так и не установлено. Кукавке еще хотелось узнать, не удалось ли агенту добыть новые факты, свидетельствующие, что работники больницы занимаются помимо лечения своих соотечественников чем-то иным.

Маруся отвечала, что все идет в строгом соответствии с указаниями господина капитана. Она присматривается, входит в коллектив, налаживает контакты. Еще немного времени, и в ее возможностях будет доложить вполне определенные данные о врачах и о летчиках.

Ей пришло на ум, — заметила Павлович деловито, и Кукавка с одобрением встретил эту деловитость, — что пилот бомбардировщика дальнего действия, доставленный в Русскую больницу намного позднее Синицына, представляет сейчас для военной разведки и ГФП больший интерес, чем все другие раненые, в том числе и Синицын. Она позволила себе некоторое отступление от полученной ранее инструкции и уделяет особо пристальное внимание этому летчику. Надеется, что ее маленькая инициатива не вызовет возражений.

Кукавка одобрительно кивнул — она поступает правильно.

Словом, Кукавка предоставил ей простор в действиях и время.

Но совсем иначе вел себя обер-лейтенант Ганс Хиндель. Этому угодить было невозможно: терпения у него не хватало.

Когда Кукавка выехал в Брянск на операцию против партизан, Хиндель остался за него. Каждый день Маруся должна была являться к нему с рапортом.

— Вы слишком медлительны. Это не работа, а черт знает что! — стучал он, багровея, кулаком по столу. — Ваши донесения не стоят выеденного яйца!

— Но мне нужно время... Там все не так просто, как.; может показаться, господин обер-лейтенант, — оправдывалась Маруся.

— Время, время... Всем нужно время! — сердито отмахивался обер-лейтенант. — Более чем достаточно времени выковыряетесь там, в этой паршивой лечебнице. И что же? Где толк? О чем вы нам доложили? Общие слова, туманные обещания — ничего больше.

Возражать ему было бессмысленно. Маруся молчала, стоя перед письменным столом навтыжку и не спуская с Хинделя глаз: так он требовал от нее.

А Хиндель, тяжело ступая, расхаживал по ковровой дорожке кабинета Кукавки. И, видно было, испытывал удовольствие от того, что он, наконец, — хозяин этого кабинета, пусть хоть на неделю.

— Я решительно недоволен, Павлович! — кричал он. — Я требую энергичных действий, а не болтовни!

Маруся опять попыталась, оправдаться:

— Я должна иметь какие-то улики, господин обер-лейтенант.

Хиндель закричал, опять в ярости грохнув кулаком о стол:

— Довольно рассуждать! Сколько времени еще потребуется?!..

— Не могу в точности сказать, господин обер-лейтенант. Мне необходимо подумать...

— Не думать вы должны, а работать, работать! Забрасывать сети и вытаскивать улов. А какая рыбка нам нужна, вы отлично осведомлены. Факты и лица, факты и лица! Имена, имена и еще раз имена! Летчиков, врачей, сестер — всех, кто там околачивается и кто представляет опасность для немецкой армии... Ну вот хотя бы, к примеру, бородатый хирург, типичный русский обманщик и бандит Иван Сусанин... Надеюсь, вы догадываетесь, что с Сусаниным нам, немцам, да и вам теперь — не по пути?

— Я рада стараться, господин обер-лейтенант.

— Не видно, не видно. Неужели вы полагаете, что мы на вас будем напрасно расходовать офицерский паек? И вообще, Павлович, призадумайтесь, наконец: какого черта понадобилось капитану и мне сохранить жизнь вам, красной сволочи? Не попадись вы

немецким солдатам, ведь убивали бы вы их без сожаления. Это же ясно каждому. Зачем нам было вас шадить?

Хиндель многозначительно предупредил, что начальник ГФП возвращается из командировки сегодня.

Не могло быть сомнений, Хиндель не пожалеет усилий, чтобы настроить Кукавку против нее. Он уж постарается внушить капитану, что перебежчица зря ест немецкий хлеб, и посоветует убрать ее из Русской больницы. Мол, лучше опять использовать «наседкой», это у нее получается.

Маруся содрогнулась при мысли, что вое может повториться: темная ночь в холодной вонючей камере, избитая, в синяках и кровоподтеках, в клочьях окровавленной одежды... Все это камуфляж, но били ее, не особенно церемонясь. Ее вталкивают в одиночку. Там томится, жаждет спасения такая же девушка, какой была совсем недавно и она, комсомолка Павлович. И вот та, настоящая патриотка, доверяет ей — провокатору и шпиону — то, что должна беречь больше самой жизни.

Только не это, только не это! Маруся уткнула лицо в подушку, чуть не задохнулась от нестерпимого желания выть и биться головой о стену. Долго не могла прийти в себя от страха и отвращения к себе. Не заметила, как «свернулась на спину, и серп луны посчитала блеклой тюремной лампочкой над головой.

Так или иначе, а расставание с больницей горше всего. Она приложит все силы, чтобы его отсрочить.

Это ведь не очень трудно — убедить Кукавку, что она вовсе не зря проводила время в больнице. Достаточно завтра выложить им даже часть того, что ей известно, в чем она давно перестала сомневаться. Разве мало у нее доказательств? Хотя бы против этого рослого блондина. Она все-таки «засекла» его, когда он со своими помощниками доставил из лагеря не больного тифом, а вишне здорового советского командира. Блондин думал, что отвлек ее внимание украинскими шуточками, наигранной веселостью, комплиментами.

А разве она не догадывается о том, зачем собираются врачи и сестры в дальней комнатке больницы.

Когда она вошла туда, участники беседы с самым невинным видом рассуждали о самых обыкновенных, повседневных своих делах. Но она поняла, что до той поры, пока ее рука коснулась ручки двери процедурной, там шел иной разговор. И потому-то сестра и санитарка, как бы случайно повстречавшиеся ей в коридоре, вдруг стали ее о чем-то настойчиво расспрашивать, занимать никчемной болтовней. Ясно, выигрывали время, чтобы там, в процедурной, успели подготовиться к встрече опасной гостьи.

Она — и еще как! — смогла бы порадовать Бено Кукавку и Ганса Хинделя.

Но пусть не надеются, ничего этого не будет, потому что она помышляет о другом.

А что если завтра же взять и все рассказать Смирнову? Все, как есть. Превозмочь стыд, позор, боязнь, что он ей не поверит, отшатнется от нее, как от чего-то гадкого, омерзительного. Нет, он поверит, должен поверить. Смирнов примет все меры предосторожности, а она теперь станет делать все, что он прикажет.

Нет, не завтра, не в эти дни! Как бы такое признание не расстроило весь ее план. Нужно еще немного обождать. Выбрать более подходящий момент. Или пойти «а это, если уж иного выхода не будет.

Луна — тюремная лампочка — долго маячила перед глазами Маруси. Сон одолел ее, уже когда стало светать.

* * *

Маруся сразу заметила, что начальник ГФП в дурном настроении и недоволен ею, — Рассказывайте конкретно, — сказал Кукавка, едва кивнув головой в ответ на ее приветствие, Хиндель, сидевший рядом в кресле, заложив ногу за ногу, молча смотрел мимо нее с таким выражением лица, словно она его не интересовала, и обер-лейтенант вообще удручен напрасной тратой времени — ведь ему и без того все абсолютно ясно.

Маруся стала уверять капитала, что ничего достоверно не знает, у нее такие же подозрения, как и у них, но она полагала, что каждое подозрение, прежде чем стать уликой, должно получить подтверждение фактами, конкретными фактами. Она к этим фактам уже подбирается, не сегодня, так завтра...

Кукавка перебил ее:

— Перестаньте читать лекцию! Мы вас не об этом спрашиваем.

— Вот именно,— подхватил Хиндель, все так же не глядя на Марусю.

Она сокрушенно развела руками:

— Я очень мучаюсь этим. Но ничего конкретного пока сообщить не в состоянии.

— Не мешало бы вам обратить внимание на свою оперативность,— сказал Кукавка, иронически подчеркивая слово «оперативность». Лицо его при этом сморщилось, а в глубоко посаженных глазах возник неприятный, режущий блеск.

— Я все понимаю, господин капитан,— ответила Маруся покорно.— Прошу прощения, но задание слишком сложное, тем более, что речь идет о медицине. Я в ней плохо разбираюсь.

— А! При чем тут медицина! Вы разведчик, агент тайной полевой полиции.

— Неужели вы во мне сомневаетесь? — спросила Маруся, выдержав тяжелый, злой взгляд капитана.— Ведь я служу вам верой и правдой. Всю жизнь должна служить. У меня нет другого выхода, господин капитан. Теперь мои злейшие враги — русские. Их победа — моя гибель. У красных для меня лишь один подарок — пеньковая петля.

— Мы все учитываем,— одобрительно отозвался Кукавка.

Он дал ей еще одну отсрочку, Хиндель порывался вежливо, но настойчиво убедить своего начальника, что его доверие превзошло все пределы и чревато серьезными осложнениями. Пора бы призадуматься над степенью добросовестности агента. От русского всегда жди какого-нибудь подвоха.

Кукавка не стал его слушать, насмешливо осадил:

— Ну и чудак вы, право! Ей некуда пятиться от нас.

Время шло. Уже по-летнему сияло солнце. Навстречу теплу, чистому воздуху, аромату молодой листвы распахнулись окна палаты. Вместе с летом сама жизнь входила в эти окна. Легко понять нетерпение, с которым ждали здесь долгого и теплого дня: можно будет допоздна не зажигать чадающих коптилок и не дрожать над каждым поленом, каждой щепкой, и все равно, как ни дрожи над ними, коченеть в промерзших, сырых и мрачных комнатах.

Маруся продолжала ходить на дежурства и делать перевязки, теперь уже намного сноровистей, чем в первые дни. Ухаживая за ранеными, она по-прежнему оказывала чрезмерное внимание летчикам и, как прежде, задавала вопросы, подозрительно выходящие за сферу медицины и обязанностей сестры. Что ни день, все сильнее чувствовала она перед собой черту, за которую не могла ступить.

Синицын пытался было досказать Марусе то, что она в тот вечер не пожелала выслушать. Но, оборвав его на полуслове, с деланным смехом, она заторопилась из палаты.

Оставаться наедине с Дарьей Михайловной Маруся избегала. Когда Лифинова однажды все же ухитрилась задержать ее в опустевшей операционной и, как тогда ночью, ласковым материнским жестом вздумала снова вызвать девушку на откровенность, Маруся, передернув плечами, резко отстранилась и, не глядя Дарье Михайловне в глаза, зло бросила:

— Чего вам от меня нужно? Липнете и липнете. Как будто других дел себе не найдете!

А Марусе хотелось произнести совсем другие слова.

Она готова была упасть перед Дарьей Михайловной на колени и облегчить душу слезами. Так бывало с ней в детстве, когда только один человек на свете был способен понять ее и защитить от всех бед — мама, любимая, ли с кем несравнимая.

Хотелось ничего больше не скрывать от этой ласковой женщины, очень похожей на

мать, но было ужасно представить себе брезгливо отшатнувшуюся от нее Дарью Михайловну, и то, как проклинают отступницу, подлеишуую из подлых Лифинова и все, все они...

Маруся ловила себя я а мысли, что готова и сквозь такое пройти. Пусть в этом случае месть обманутых палачей превзошла бы все представления о жестокости. Это не остановило бы ее. Разве она их боится? Единственно, чего она теперь по-настоящему боялась, это что другой агент ГФП займет в больнице ее место. Тот, другой, придет с теми же подлыми полномочиями, но будет наверняка более добросовестным в том смысле, в каком только и понимают добросовестность Кукавка и Хиндель.

Вот почему все должно продолжаться без изменений. Пусть все идет, как идет, сколько возможно дольше. Теперь важно выиграть время. Ради этого — никаких откровенных разговоров, никаких опрометчивых поступков! Играть свою двойную роль до конца. А там — будь, что будет!

Это решение созрело у нее июньскими короткими ночами сорок третьего года и отныне стало смыслом существования. Наедине с собой Маруся теперь, как тогда в тюремной камере, мысленно возвращалась к прежней жизни. Горько плакала, обнимая мать, снова читала неполученные письма с фронта от любимого. Он прислал их много, они ждут ее на Большой Земле — все о верности... Снова входила в самолет на погруженном в тревожную темноту аэродроме. Потом прыгала в черную, ледяную бездну следом за товарищами. Потом, сжимая шершавую рукоятку нагана, шла из густого колючего ельника, утопая в сугробах, к опушке, навстречу беде...

Но все это она сейчас видела глазами другого человека, многое переоценившего.

Ночами без сна, в раздумьях, которым не было конца, Маруся опять и опять примеряла себя к людям, которых обязана была предавать. Они, эти врачи, сестры, санитарки, танкисты, летчики, пехотинцы — настоящие люди. А она? Не человек — ядовитая, смертельно опасная гадина. И суют ее, куда им заблагорассудится, злейшие враги Родины.

«Нет, нет,— оправдывалась она перед собой,— что было — прошло».

Прошло? Осталось позади? Вот, оказывается, в чем дело! «Кто старое помянет... было и былшем поросло...» Надеешься?

«И ты, дура набитая, мечтаешь у советских людей вымолить прощение? Напрасные надежды! За одно только то, что натворила ты в камере тюрьмы, единственная награда — позорная смерть!»

Да, она уже вынесла себе справедливый приговор и готова даже сама привести его в исполнение. Дуло к виску — и получай избавление. Нет, не выйдет! Все равно это собачья смерть. Запутавшийся предатель одним махом рубит узел — только и всего. Никто иначе и не подумает. Да и кому она доставит радость, пойдя на такое? Известно кому — Хинделю. Вот негодяй обрадуется!

Нет уж, хватит одного подарка фашистам. Она будет жить и не просто жить, а бороться! Пока это в ее силах. Она все сделает, но не заменят Павлович в Русской больнице другой «сестрой» из ГФП. Пусть не надеются, что она предаст врачей, сестер, санитарок, раненых и больных — настоящих людей. Придет время, она низко поклонится им всем за то, что в черном море фашистского ада неожиданно-негаданно обрела под ногами твердую почву Родины, чудесный островок ее земли.

На нем шел бой, не менее рискованный и сложный, чем тот, который достался группе разведчиков, заброшенных в фашистский тыл. Более рискованный, более сложный. Марусе и ее товарищам там, в лесу, было куда легче. Они имели возможность скрыться от врагов могли встретить их, как подобает, с оружием в руках, отвечая смертью на смерть, кровью на кровь. А тут висели над пропастью: одно неточное движение, и — в бездну головой. Ничто уж тебя не спасет. И так почти два года!

Эти настоящие русские люди разве не хотят жить или любят жизнь меньше ее? Все дело в том, что они признают жизнь, достойную человека, а не трижды проклятое змеиное

существование.

Преклонение свое перед, ними она выразит делом, только делом — настоящим, достойным их примера. Пусть думают они о ней что угодно! Чем хуже будут думать, тем даже лучше, намного лучше...

Маруся продолжала выполнять свой план. Кукавке и Хинделю она приносила сведения, гае имеющие для них значения. Она тянула, хитрила...

Нелегко было начальнику орловской ГФП сознаться в том, что Хиндель превзошел его в бдительности. Да и чертовски жаль отказывать себе в услугах агента, приобретая которого, Кукавка, по его глубокому убеждению, блеснул талантом. Не часто удается перетаскивать на свою сторону советского разведчика, Ой, как не часто. Из этих фанатиков слуга двух господ же получается. И вот эта Павлович лишнее тому доказательство. Что ж: учись и учись! У кого придется. Если необходимо, то и у этого труса и тупицы Ганса,

— Так и быть, поставим на ней крест,— сказал капитан толстяку Хинделю, не подавая и вида, что проиграл ему и испытывает отвратительное чувство оставшегося в дураках.

Но крест этот поставить они не успели: фашисты бежали из Орла. «Гехайм фельд полицай» было теперь не до агента, который обвел их вокруг пальца.

Марусю Павлович в том же, 1943, году судил военный трибунал Красной Армии. Судил строго, как она того, заслужила. Но не сбросил со счета Русскую больницу и нашел возможным сохранить подсудимой жизнь.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Георгий Алексеевич Руднев должен был теперь и днем и ночью, неотступно, не смыкая глаз, стеречь свой дом.

Сменить Георгия Алексеевича на этом посту не мог никто. Только он один — сгорбленный, изможденный, заросший седой щетиной старичок — мог не опасаться, что попадет под действие приказа, который висел на стенах, столбах и заборах. Его много раз оглашали и по радио: каждый русский мужского пола в возрасте от пятнадцати до шестидесяти пяти лет, осмелившийся не эвакуироваться из Орла, будет предан смерти немедленно, без суда и следствия.

Вот когда пригодился подвал, в который, как: читатель помнит, Михаил Богданчиков и Алексей Руднев спустились, бережно неся радиоприемник. Теперь он» снова были тут. Вместе с товарищами по борьбе не показывались из подвала вот уже вторые сутки.

Георгий Алексеевич, оставшись наверху в коридоре, наглухо закрыл и замаскировал вход в подполье. Отверстие для воздуха, заблаговременно пробитое снаружи, старик обложил кирпичом настолько искусно, что нельзя было разглядеть его со стороны.

Во дворе, на посту, и застал Георгия Алексеевича рассвет пятого августа 1943 года.

После гремевшей весь день накануне артиллерийской канонады, после взрывов (при каждом сердце сжималось в тоске и ненависти: отступая, немецкая армия оставляла за собой «зону пустыни») ночью вдруг в городе воцарилась тишина — напряженная, непривычная.

Белесый туман полз от Оки через огороды к домам, стоявшим на берегу. От него знобило. А может быть, туман был и вовсе ни при чем. Георгий Алексеевич согревался надеждой: летний туман с ночи предвещает погожий день. И в самом деле, первые солнечные лучи рассекли белесую пелену, а свежий теплый ветерок разогнал и развеял ее.

Занималось утро удивительной свежести, редкой красоты. Таким и только таким могло быть начало дня, которого столь долго ждали люди!

Георгий Алексеевич вздрогнул и замер. Со стороны железнодорожной станции явственно доносилась мелодия «Интернационала». Сначала ее исполнял оркестр, потом вступил хор. Должно, быть, это гремел мощный радиорупор. Гремел над городом из края в край, возвещая конец мрака и торжество света. Это летела к ним на крыльях сама свобода! Старик и все те, кого он берег там, в подвале, много раз пытались вообразить час освобождения. Но никто из них не мог представить себе, что все случится именно так.

Просто и необыкновенно торжественно.

Несколько мгновений Руднев вслушивался в величавую мелодию, в призывные слова. Он выпрямился — грудь вперед, руки по швам, голову гордо поднял: так стоят в строю при выносе боевого знамени. Он чувствовал себя молодым, сильным и вдруг громко, вдохновенно запел:

Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

Потом сорвался с места и побежал к завалу у стены дома. Легко, не чувствуя усталости, словно и в самом деле помолодев, Георгий Алексеевич разбросал кирпичи, и, наклонившись к отверстию, крикнул звенящим от волнения голосом:

— Ребятки!.. Род людской!.. На-аши пришли!!.. На-аши!.. На-а-аши!..

Первой услышала «Интернационал» в Русской больнице Дарья Михайловна Лифинова. В эту ночь она дежурила.

Теперь обязанности дежурной существенно отличались от прежних. Нечего было делать в палатах, в перевязочной, в операционной: они пустовали. Всех, кто не мог ходить, унесли в подвал. А кто мог, тот сам сошел. Это сделали, едва только оккупанты распорядились военнопленных, находящихся на излечении немедленно вернуть в лагерь. Этот последний приказ врага, уже наострившего лыжи, решено было полностью игнорировать,

Перед бегством фашистов из города число пациентов Русской больницы возросло. Здоровых людей срочно укладывали в постели, делали им весьма внушительные перевязки, писали «истории болезни», новых и новых «остро нуждающихся в постельном режиме» прятали в подвале.

Тут стало известно, что немцы в панике ослабили охрану тюрьмы. В больнице прибавилось еще 135 солдат и офицеров Советской армии, вызволенных из лагеря военнопленных.

Пока гитлеровцы на переднем дворе тюрьмы, у выездных ворот, спешно сколачивали группу пленных для отправки на запад, Лука Трофимович Гура через заранее подготовленный пролом в дальнем углу тюремной стены одного за другим вывел 135 беглецов за зону лагеря. Там, в зарослях картофельной ботвы их дожидались медсестры Сырцева, Алешина, Шевлякова, Трусевич и другие. Мелкими группами, по одному, маскируясь в зелени садов и огородов, глухими переулками и задворками в сопровождении сестер они пришли на Тургеневскую улицу в Русскую больницу, где все было подготовлено к встрече. План похищения пленных был разработан «месте со Смирновым.

Луке Трофимовичу все это сделать было очень трудно, не мог ему как прежде помочь бесстрашный и всегда изобретательный Григорий Чмыхало.

Однажды он вышел из лагеря и больше туда не вернулся. Ушел, чтобы во главе группы товарищей — санитаров лагерного лазарета — перейти линию фронта и встретиться с наступающими частями Советской Армии. Но какой-то негодяй донес о побеге и помог жандармам напасть на след Чмыхало. Григорий был схвачен, жестоко избит и в бесчувственном состоянии брошен в карцер. Едва он приходил в сознание, снова начинались истязания и пытки. Фашисты требовали имен сообщников. Он выдержал такое, что, по убеждению выдавших виды палачей, не был в силах выдержать человек, и ничего не сказал. Осталось одно — расстрелять его. Упорствующего беглеца приговорили к смертной казни. Но на выручку вновь поспешили Логунов и Светаев, пользующиеся расположением лагерного начальства.

Казнь была заменена голодным карцером на весьма длительный срок, что означало ту же, только более мучительную, смерть. «На мокром каменном дне карцера после стольких

дней голода и жажды в живых человек не останется,— рассуждали палачи.— Да еще, если из чего душу вытрясли при допросах. Почему не разрешить Логунову унести оттуда полумертвеца? Пусть что хочет, то с ним и делает...» Но Логунов и Светаев все же выходили Чмыхало. Совсем отвести от него беду они не были в состоянии. Узнав, что Григорий выжил, гитлеровцы немедленно спровадили его в Германию, в один из таких концентрационных лагерей, откуда не возвращаются. И Чмыхало наверняка погиб бы, не взвевшись над рейхстагом знамя нашей великой Победы.

* * *

За несколько дней до освобождения Орла Лука Трофимович прибежал к Смирнову.

— Фашисты заминировали тюрьму, — сообщил он.— А там, в лазарете, находятся тяжелораненые, не способные сделать и шага. Им грозит гибель под руинами казематов. Вот каков очевидный замысел гитлеровцев.

Сорвать его, сорвать скорее, пока еще не поздно! Гура знал, как это лучше сделать; он все обдумал, все предусмотрел. Лука Трофимович не зря следил за фашистскими подрывниками. Нет, не под все корпуса проклятые заложили мины. Один корпус — хозяйственный — обошли. Там сейчас охрану несут два полица, связанные с подпольем. Но как перенести людей в безопасное место?

За узниками вызвались идти медицинские сестры. Наталья Игнатьевна, жена Михаила Андреевича Сурова, и Софья Михайловна — сестра другого ближайшего товарища Жореса по подполью Георгия Михайловича Огурцова. В тюрьму направились также их соседки — мать и жена красноармейцев.

Так вчетвером пришли они в лагерь военнопленных, в то страшное место, где гибли от ран, болезней, голода и вопиющей антисанитарии русские люди.

Был жаркий и душный августовский день. На раскаленных камнях тюремного двора от палящих лучей солнца негде было укрыться. Каждый раз, переходя двор, женщины все больше чувствовали тяжесть носилок. Ныли и деревенели руки, ноги, плечи; напрягаясь до последней степени, молило об отдыхе все тело. Пот заливал лица. Казалось, что вот-вот ты не выдержишь потеряешь сознание, грохнешься на булыжник. А нужно было не только перенести всех изувеченных людей в безопасное место, но и многим из них тут же оказать медицинскую помощь. Кто-то агонизировал. Кто-то стонал от невыносимой боли.

Наконец, все до единого — в хозяйственном корпусе. Лежат один возле другого на полу в большом полутемном помещении, под мрачно нависающими оводами. Женщины, опустив в последний раз носилки, усталые и обессиленные, тут же рухнули на пол, не замечая, что он жесткий и грязный.

Рокот автомобильного мотора во дворе тюрьмы заставил их снова вскочить. Наталья Игнатьевна подбежала к окну. Так и есть: немцы! Офицер стоит посреди двора, развернул карту, что-то по ней сверяет, окидывая взглядом тюремные корпуса. Двое солдат побежали к лазарету, вернулись, должно быть, доложили офицеру о том, что лазарет пуст. Офицер сунул карту в карман и вместе с солдатами побежал к хозяйственному корпусу.

— Догадались, проклятые! — Наталья Игнатьевна повернулась к раненым:

— Подрывники приехали. Молчите! Ни звука. Иначе всем конец... А мы,— Наталья Игнатьевна решительно направилась к двери, жестом увлекая за собой подруг,— давайте не пустим их сюда!

Прошла томительная минута. Потом напряженную тишину оборвал топот ног за дверями. Софья Михайловна еще раз поправила доску, вдвинутую в ручку двери: вроде бы не так просто открыть...

Фашисты несколько раз дернули дверь. Она не поддавалась. Тогда они принялись колотить по ней прикладами. Четыре русские женщины — бледные, всклокоченные, в грязной измятой одежде, стиснув зубы, стояли перед дверью. На полу, на некотором расстоянии за ними, в полумраке также молча лежали раненые.

Фашисты взломали дверь. Створки ее распахнулись, пропуская офицера. В руке он держал револьвер. За офицером толпились солдаты; тускло блестели дула их автоматов.

Женщины, не сделав и шага назад, стояли плечом к плечу, пытаясь заслонить собой раненых. Но сделать это они были бессильны, и фашист увидел все.

Их было слишком мало, этих русских женщин. Офицер скользнул взглядом по лежащим вповалку пленным и снова посмотрел на женщин. Встретил четыре пары глаз, готовых на все, презирающих даже смерть. «Мы знаем, — говорили эти глаза, — тебе, палач, достаточно короткого взмаха руки, и нам никогда уже не выйти отсюда. И нам, и тем беззащитным, полуживым, ради смерти которых ты сюда примчался. Что ж, действуй, зверь! Тебе не привыкать сводить людей в могилу».

Немец вдруг опустил револьвер, попятился к порогу, не опуская глаз с женщин, тихо свел за собой створки двери. Голоса фашистов раздались во дворе. Потом взревел автомобильный мотор, рокот его покатился за ворота, и наступила тишина. А через несколько минут в зоне лагеря загрохотали взрывы: рухнули тюремные корпуса, из которых только что вынесли больных, беспомощных воинов.

Их было пятьдесят два.

* * *

В подвале хирургического отделения при больных находились только женщины, на случай, если туда нагрянут немцы. Мужчин они наверняка бы перестреляли за нарушение приказа об эвакуации. Мужская часть персонала больницы укрылась в заброшенных немецких блиндажах и траншеях, которые Протопопов накануне облюбовал как последнее прибежище.

Пост дежурного в эту ночь был на открытом воздухе. Дарья Михайловна обходила дом и со двора, и с улицы, готовая забить тревогу, если появятся фашистские факельщики и подрывники. Но ночь прошла спокойно. Видать, немцы забыли или не успели заложить взрывчатку под здание больницы. Но Дарья Михайловна напрасно на это надеялась. Фашисты оказались предусмотрительнее, чем о них думали: больница была заминирована несколькими днями раньше и так, что никто из наших людей не заметил. Мины замедленного действия обнаружили и обезвредили уже наши саперы, не поверившие в «забывчивость» гитлеровских разрушителей. Сколько человеческих жизней спас ты тогда, идя по стопам врага, сколько бессмысленных разрушений предотвратил, иной раз сам жертвуя собой, неутомимый и неприметный в своем каждодневном подвиге, советский сапер! Мы навсегда запомнили твой почерк по лаконичным надписям на стенах: «Мины обезврежены».

Дарья Михайловна совершала очередной обход больничного здания, когда со стороны вокзала донеслись до Тургеневской улицы знакомые, волнующие звуки гимна. Нет, она не ослышалась: это была мелодия «Интернационала»!

Дарья Михайловна стремительно бросилась к подвалу:

— Слушайте, слушайте!.. Наша свобода пришла! — закричала она, распахнув двери.— Свобода, свобода, родненькие вы мои!

Плача от счастья, она целовала и обнимала всех подряд. Ее тоже целовали и обнимали, в радостном возбуждении и слезах бессвязно говорили сердечные слова.

Дарья Михайловна заспешила к блиндажам. Может быть, там ничего еще не знают? Но навстречу Лифиновой уже бежали Смирнов, Гусев, Протопопов. Они не могли сдержать слез счастья и не стеснялись их.

На призывные, за сердце берущие слова «Интернационала» люди выходили из подвалов и бросались друг другу в объятия! Люди снова становились людьми. Жизнь торжествовала.

В тот день над Орлом и Белгородом взвились знамена нашей победы. В столице

Родины Москве прозвучал первый артиллерийский салют Великой Отечественной войны. Он стал отныне традиционным, праздничным громом, который, затаив дыхание, слушал весь мир.

Опаленные огнем боев, покрытые густой пылью, в выцветших от солнца и пота гимнастерках вступали в город на Оке его освободители.

Куда было нести раненых? Где сделать неотложную операцию?

И вдруг оказалось, что здесь, в только что освобожденном городе, в самой непосредственной близости к фронту, действует пункт медицинской помощи Советской Армии. Это оттуда спешили люди в белых халатах с носилками в руках и санитарными сумками через плечо.

Но не от них прослышали солдаты и офицеры о новости, в которую нелегко было сразу поверить. Старики и женщины, выбравшиеся из подвалов, первыми указали своим освободителям путь к госпиталю, что почти два года в тылу врага оставался на боевом посту.

Здесь теперь оперировали, накладывали гипс и перевязывали советских воинов, раненных в боях за Орел. А тем временем многие старожилы удивительного госпиталя, сорвав с себя бинты и вату, прочь отбросив костыли и палки, без которых они вчера еще на виду у людей и шагу не ступали, вышли на залитый солнцем двор. Самые крепкие подходили к турнику, оставленному немецкой воинской частью. Хотелось поразмяться, попробовать, есть ли сила в мускулах.

Этот турник привлек внимание Николая Ниловича Бурденко, главного хирурга Советской Армии.

Едва войдя в город с передовыми нашими подразделениями, Бурденко поспешил разыскать «странный медпункт». У ворот его встретили коллеги, друзья, соратники и ученики — Смирнов, Протопопов, Гусев, о судьбе которых он знал из сообщения Матросова, все же прорвавшегося через фронт к своим в сорок первом.

Бурденко обнял их, как солдат обнимает солдата, одержавшего победу в неравном бою, где все было поставлено на карту и все преодолено.

— Что за гимнасты такие? — Николай Нилович кивнул головой в сторону турника.— Неужто ваши пациенты?

— Так точно, товарищ генерал-полковник медицинской службы! — ответил Смирнов.— Тот, что на перекладине,— Константин Синицын, летчик. Был тяжело ранен. Пациент доктора Протопопова.

— Ему нелегко сразу обрести свою прежнюю форму спортсмена,— стал объяснять Сергей Павлович.— Очень долго лежал пластом, да и перенес немало. Но молодец, герой, настоящий герой! А вот и его друг. Ему под стать. Тоже авиатор. Пациент доктора Гусева...

Бурденко увидел Александра Гомзикова. Он шагал к турнику.

— Тоже «неизлечимый»? — опросил Николай Нилович, улыбнувшись.

— Так точно!

— И тоже герой?

— Вел себя, как подобает солдату.

— А вы? Вы, товарищи, отдаете себе отчет, на какой риск сами шли?! Ведь у вас тут был настоящий подпольный госпиталь. Выдать этаких богатырей за неизлечимых! Уверить фашистов, что медицина бессильна перед их ранами! Это выигранное сражение, да еще какое! Ах, молодцы, какие вы все молодцы!

Осмотрев госпиталь и собрав во дворе весь его персонал, главный хирург Советской Армии принял по всей форме рапорты военных врачей.

— Докладываю, товарищ генерал-полковник медицинской службы,— говорил Смирнов в торжественной тишине. — Наш госпиталь передает командованию более двухсот бойцов и офицеров. Среди них двадцать два летчика, готовых хоть сейчас подняться в небо, бить врага. Те из раненых, кто здоров, кто способен к дальнейшему прохождению службы, уже взяты командирами в части и подразделения, преследующие отступающего врага. Хочу заметить, — Вениамин Александрович улыбнулся и все, кто соприкасался с ним в течение

этих двух страшных лет, вдруг удивленно поняли, что Смирнов способен на улыбку широкую, радостную. — Кое-кому посчастливилось попасть в свои части и подразделения, вернувшиеся сейчас в Орел с победой. Там их приняли, как в родную семью. Остальные раненые эвакуированы для продолжения лечения в тыловых госпиталях.

Рапорт главного врача дополнил Протопопов:

— Бригадный врач Смирнов сделал все возможное, и теперь наш госпиталь на полном ходу передается органам здравоохранения города Орла как действующая больница. В ней насчитывается 300 коек и 170 медицинских работников — дружный, крепко спаянный коллектив. На его счету, товарищ генерал, кроме воинов, почти триста штатских, которым была оказана квалифицированная медицинская помощь. Все они поступали к нам с тяжелыми ранениями.

Сергей Павлович решил, что в кратком рапорте не место объяснять, где были ранены эти в большинстве своем пожилые мужчины, а также женщины, из каких мест доставляли их в Русскую больницу и какого серьезного лечения они требовали. А он мог бы рассказать о «ночах устрашения», которые гитлеровцы придумали, чтобы страхом заставить орловцев работать на завоевателей.

На военном аэродроме и железнодорожном узле фашисты облюбовали голые, ничем не защищенные участки земли. Их обнесли колючей проволокой, пропустили по ней электрический ток. Вечерами сюда загоняли схваченных жандармами «саботажников» и держали всю ночь, подвергая смертельной опасности, обрекая многих на тяжелые ранения и смерть во время интенсивных воздушных налетов.

Николай Нилович Бурденко долго не уходил из госпиталя. Он беседовал с врачами, сестрами, санитарками. Его окружали раненые, к нему подходили их «ближайшие родственники».

Он слушал простые, чаще всего очень скупые рассказы. Все выглядело в них обыкновенным, будничным, иначе, мол, и быть не могло. Так велел долг, так и поступал каждый...

— Примите, дорогие мои друзья,— сказал Николай Нилович, обращаясь к коллективу госпиталя,— благодарность и восхищение вашим подвигом. От лица Советской Армии, всего нашего народа, всей страны. Спасибо вам, родные мои!

И главный хирург низко поклонился.

Академику Бурденко предстоял в Орле большой напряженный труд как члену Государственной Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний оккупантов. Главный хирург Советской Армии привлек к работе в комиссии военных врачей бывшей Русской больницы. Они восприняли это как знак большого доверия Родины, как символ свершения того, что должно было свершиться.

Несгибаемые советские люди! Им суждено было увидеть собственными глазами, им выпало испытать на себе все, что принес с собой гитлеровский «новый порядок» на нашу мирную землю. И вот из узников фашизма они становились его обвинителями и справедливейшими судьями.

Иначе и быть не могло!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Это документальное повествование написано спустя двадцать лет после того солнечного утра, когда над старинным русским городом Орлом, возвещая его освобождение, разлилась мелодия «Интернационала».

Авторы ничего не выдумали и не описали иначе, чем было на самом деле. Лишь кое-где, в интересах большей стройности рассказа, они позволили себе сместить некоторые факты во времени, перенести их в другие места, в несколько измененные обстоятельства, которые, однако, полностью соответствовали подлинным. За очень редким исключением всем персонажам повести сохранены их имена.

Где они сейчас, герои Русской больницы, как сложились их судьбы за два минувших десятилетия?

Дорогой читатель! Если случится тебе побывать на Большой Серпуховской улице Москвы, не проходи равнодушно мимо строгого здания, что стоит за оградой в тени деревьев. Здесь, в Институте хирургии имени А. В. Вишневского Академии медицинских наук СССР трудится, как и до войны, Сергей Павлович Протопопов.

Через два года после победы Протопопов, уже, будучи заведующим хирургическим отделением Института, защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Ему присвоили звание профессора. Кстати, и в подпольном госпитале Сергей Павлович не переставал накапливать материал для своей будущей докторской диссертации.

Через одиннадцать лет автор многих научных работ, заместитель директора Института хирургии Академии медицинских наук, профессор кафедры хирургии Центрального института усовершенствования врачей, член правления и генеральный секретарь Всероссийского общества хирургов, почетный член Орловского научного общества врачей Сергей Павлович Протопопов был удостоен звания заслуженного деятеля науки РСФСР.

Далеко не такой благосклонной была судьба к Вениамину Александровичу Смирнову.

Сто мучительных дней продолжалась проверка. Обвинения, выдвинутые против него, одно за другим отпали. Смирнов вышел из проверки вроде бы оправданный, но его не желали восстанавливать в воинском звании. Ему упорно не предоставляли работы, соответствующей его знаниям и опыту.

В 1945 году ветеран Советской Армии Смирнов был уволен в запас «за невозможностью использования». При этом из его стажа вычеркнули два года — время пребывания в оккупированном Орле.

Так был нанесен Вениамину Александровичу еще один удар, прямо в сердце, в больное, работающее на пределе, готовое разорваться от нестерпимых обид и несправедливости.

Невесело встречал Смирнов сорокалетие Советской Армии: разжалованный, лишенный доброго имени да еще материально ущемленный. Накануне дня, который мог бы стать для него светлым, заслуженным всей жизнью праздником, Вениамин Александрович дописал и отнес на почту рапорт Министру Обороны СССР Р. Я. Малиновскому.

«Товарищ Маршал! Разрешите обратиться к Вам с просьбой. Сорок лет Советской Армии. Как близка эта дата сердцу каждого и особенно тем, кому пришлось служить в ее рядах долгие годы, с первых дней».

Они лежат перед нами, странички письма разжалованного военного врача Министру Обороны СССР. Скупые, до предела сжатые строки...

Суровая правда, глубокая душевная боль звучат в них. Смирнов рассказывает Маршалу о захвате Орла фашистами и трагическом пленении наших военных госпиталей. Щепетильно обходя молчанием личные заслуги, свою верность врачебному и воинскому долгу, сообщает о возникновении в оккупированном городе Русской больницы и деловито — факт за фактом, цифра за цифрой — о том, что ею было за два года сделано ради победы над лютым и коварным врагом.

«Теперь моя служба в Армии закончилась без офицерского звания, выходного пособия и прочих льгот. Тяжело бесславно уходить из Армии ее кадровому врачу, отдавшему полжизни военной службе... Допущена вопиющая несправедливость. Тринадцать долгих лет я нахожусь на положении без вины виноватого»...

Это обращение достигло цели.

Перед нами — документ, решительно положивший конец предвзятости, недоверию по отношению к человеку, который, очутившись из-за рокового стечения обстоятельств на захваченной врагом советской земле, честно выполнил свой долг солдата и врача.

«Приказ Министра Обороны Союза ССР по личному составу... 24 апреля 1958 года.

Бригврачу Смирнову Вениамину Александровичу присвоить воинское звание «полковник медицинской службы» и считать его уволенным с 15 января 1945 года... по выслуге установленных сроков действительной службы.

Пункты приказов начальника Главного военно-санитарного управления Красной Армии от 15 января 1945 года и ЮЖУРВО от 28 февраля 1945 года об увольнении его... отменить».

Правда восторжествовала.

Горько об этом писать, но из песни слова не выкинешь: Приказ Министра был издан, когда Вениамин Александрович доживал уже последние дни. В том же 1958 году он умер от инфаркта.

После освобождения родного города еще более трагически, чем у Смирнова, сложилась судьба патриота-подпольщика Юрия Дмитриева. Длительный срок пробыл он в заключении, обвиненный в самом чудовищном — измене Родине. Только решительная борьба Коммунистической партии против культа личности и его последствий, за социалистическую законность вернула Дмитриеву свободу и доброе имя,

Юрий Васильевич живет ныне в Орехово-Зуеве. Он — пенсионер, но покой отвергает. Коммуниста, принципиального, трудолюбивого человека, пропагандиста и агитатора хорошо знают в рабочем городе.

Михаил Богданчиков в погожий летний день встретится вам среди деревьев и цветников парка культуры и отдыха города Орла, того самого парка, у ограды которого, как, вероятно, не забыл читатель, окликнул и задержал Богданчикова фашистский часовой, когда подпольщик нес в мешке радиоприемник к домику Рудневых. Теперь вы увидите бойца подполья с мольбертом и кистью в руках.

Георгий Алексеевич Руднев вскоре после войны скончался в Орле. Сын его Алексей по-прежнему живет и работает в родном городе.

Борис Николаевич Гусев, когда отгремела война, вернулся в Москву и возглавил хирургическое отделение Центральной больницы Министерства путей сообщения. Борис Николаевич скончался в 1953 году, оставив по себе добрую память замечательного врача, воспитателя, молодого поколения хирургов и автора ряда научных трудов.

Анатолий Алексеевич Беляев из Орла, только что освобожденного советскими войсками, отправился на фронт. Летом сорок четвертого в бою под Нарвой он был ранен и контужен. Через два года Анатолий Алексеевич демобилизовался, заведовал отделением психиатрической больницы в Новочеркасске, а потом переехал в Курск, где теперь работает заместителем главного врача областной психиатрической больницы.

На родной Украине, в одном из благодатнейших и живописнейших ее уголков, поселился Григорий Прохорович Чмыхало.

По всей вероятности мало кому в молодом городе Кременчугской гидроэлектростанции знаком медицинский работник уже в годах, часто и надолго сам прибегающий к помощи врачей: дают о себе знать раны, полученные в боях, тяжелые последствия пыток и издевательств в гитлеровских лагерях смерти. Но Григорий Прохорович все так же общителен, приветлив и высоко держит голову.

Его не согнули новые, страшные в своей неожиданности и незаслуженности оскорбления, через которые пришлось ему пройти после войны. Но, в конце концов, на пути Чмыхало встретился человек, который помог восстановить истину. Вот как об этом пишет Чмыхало в своем дневнике:

«Это был умный, чуткий человек, он как небо от земли отличался от прежнего следователя, того старшего лейтенанта, которого я больше в глаза не видел, оно буду помнить всегда. Капитан Андреев, дал мне высказать все, до последней мелочи. Слушал он внимательно, с интересом и сочувствием. Он не ставил своей целью опровергнуть меня, наоборот, его радовало, когда мои показания одни за другими подтвердили шестнадцать свидетелей. В моей судьбе разобрались, восстановили меня в офицерском звании.

Несмотря на недостаток свободного времени, плохое здоровье и частые головные

боли, много работаю, продолжаю записи в дневнике. Хочу, пока жив, все, что могу, отдать народу. В этом состоит цель моей жизни. От нее не отступлюсь. Хочу трудиться, сколько хватит сил, верой и правдой. Не имея партийного билета, всегда чувствую себя не отделенным от родной Коммунистической партии».

Иван Сергеевич Сергеев вышел на пенсию. Он и Татьяна Дмитриевна живут в родном Орле. Считают дни от письма до письма Нины, радуются наступлению лета — тогда приезжает в гости из Новосибирска дочь.

Семья Давиденко вскоре после войны переехала в Харьков. Анна Андреевна получает государственную пенсию. Ее дочь Аня работает медицинской сестрой в городской больнице.

В преддверии двадцатилетия освобождения Орла из ближних и дальних мест прибывали в город письма. Получили орловцы привет и из Коломны, от мастера машиностроительного завода Константина Ивановича Сеницына. Он поздравлял «земляков» с праздником и еще раз от всего сердца благодарил тех, кто спас ему жизнь в Русской больнице. Константин Иванович сообщал о своей жизни, работе на производстве, кипучей партийной и общественной деятельности.

Нужно ли говорить, чем была весточка от Сеницына для операционных сестер Орловской областной больницы Веры Алексеевны Алешинной и Надежды Николаевны Сырцевой, пенсионерки Дарьи Михайловны Лифиновой и Матрены Степановны Емельяновой, как встретили ее Мария Андриановна Зайцева и Павла Васильевна Чикина!

Мария Андриановна все так же бесценно заведует аптекой областной больницы. Все так же рецептаром здесь — ученица и друг Марии Андриановны Павла Васильевна Чикина. А когда Зайцева в отпуске, то еще и заведование аптекой берет на себя. Все — как в былые, довоенные времена. Министерство здравоохранения СССР наградило Павлу Васильевну значком «Отличник здравоохранения». Вместе с Зайцевой она обучает молодых специалистов, передает им свои знания, свой богатый опыт.

В знойном августе шестьдесят третьего года Орел праздновал двадцатилетие своего освобождения. Это было большое, поистине народное торжество. В праздничный город съехались его защитники — воины, партизаны и подпольщики Великой Отечественной войны. Им воздавалась особая честь. Маршал и генералы, офицеры, старшины и солдаты — военнослужащие и штатские" люди — поднялись на почетную трибуну в сквере Танкистов перед гранитной плитой. Она утопала в цветах. Ветви деревьев, склонившихся над ней, отражались как в зеркале. На этой плите, у памятника танкистам-героям, был зажжен в тот день огонь Вечной славы.

Ему не угаснуть никогда!

Авторы приносят благодарность всем героям этого повествования, их родственникам, друзьям, товарищам то оружию, которые своими воспоминаниями дали возможность показать Русскую больницу в оккупированном фашистами Орле, ее персонал и пациентов, ее друзей и врагов. Они также благодарят работников Архива Министерства Обороны СССР, Управления кадров Военно-Воздушных Сил СССР, партийные, советские и профсоюзные организации, военкоматы и командования воинских частей за помощь, которую они оказали при сборе материалов для этой книги.